
Николай ХЛЕСТОВ

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ШАГ ТЕНИ

Повесть

Не казаться большим, а быть, каким есть, —
очень важная, никем не ценимая вещь.

А. Платонов

Вот и знакомое неусопшее здание, пригрозившее среди других. Многие любили спорить о стиле этого дома. Называли ампир, нарышкинское барокко, псевдоклассицизм XX века — в общем, любой стиль, о котором только слышали или читали.

По неведомому стечению обстоятельств этот дом приютил отдел, который оказался не в одних стенах с утробой своего родителя — гигантского ведомства. На тихой московской улице мачеха гостеприимно предоставила свои апартаменты в его некоторое распоряжение. В этом доме когда-то что-то было, потом менялось, затем опять было и опять менялось. В общем, чего там только ни было. Поговаривают, что в этом здании пребывало даже богоугодное заведение вроде инвалидов учреждений. Однако все это было в прошлом. Время и события важно прошествовали через этот дом, сохранив для истории отпечаток былых перестроек. Нельзя сказать, что в результате этих перестроек дом ни в чем не проиграл, но так же верно, что он ничего и не выиграл. Впрочем, в ясные дни, так ценимые москвичами, дом наливался особым цветом и блестел стеклянными глазами, которые с интересом взирали на чужих прохожих, пугая их еще не упавшей штукатуркой. Своеобразные ступени и витиеватые перила венчали замечательный облик этого здания, напоминая о его торжественной недремлющей архитектуре. Я настаиваю на определении «недремлющей», поскольку она неустанно менялась. Ясно было одно: это был настоящий московский дом, переживший многое и сумевший чудом уцелеть до нашего времени. И это важно, иначе многое могло бы и не произойти, хотя подчас возникает вопрос: а происходило ли?

Изнутри здание поражало классическими формами типичного советского учреждения. Коридоры разбегались в неизвестность от искусно вснутого торса лифтовой

Николай Олегович Хлестов родился в 1952 году в Москве. Дипломат, прозаик. Окончил МГИМО. Работал в нашем посольстве в Эфиопии, в различных департаментах МИД СССР и затем России. Занимался многосторонней дипломатией, участвовал во многих международных совещаниях по линии ООН. С 1998-го по 2016 год работал международным чиновником во Всемирной организации интеллектуальной собственности системы ООН в Женеве. Автор книг прозы, вышедших в России и ФРГ, член Союза писателей XXI века. Дипломант премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» за 2017 и 2019 годы. Живет в Москве.

шахты, затянутого в лестничный корсет. Служебные комнаты самой разнообразной величины и конфигурации так же симметрично убывали в никуда. Единственная живая нить — красная ковровая дорожка — отдавалась самозабвенно служивой жизни. Ее всплески волнами пробегали по коридорам, задевая нужные комнаты и почтительно замирая перед кабинетами, выгодно отличавшимися от иных, прочих. Бумаги сновали взад и вперед так, что живая нить подчас съеживалась и даже стены, когда-то голубые, бледнели от обморока. Лишь одноглазое коридорное окно в несуразную уличную веселость порой гоняло по туннелю идей незадействованного зайчика, напоминая о заходящем солнце.

В комнатах — их почему-то боялись звать кабинетами — толпились столы. К ним уютно прилепились стулья со служивыми людьми. Шкафы, тумбы, стопки бумаг на полу фиксировали соломенные тропы для пилигримов мысли.

Отдел обитал на третьем этаже. Второй этаж легко вычислялся по запаху, слегка напоминавшему пищу, — там была столовая, а первый этаж с гардеробом охраняли вахтер и отдел кадров, выдававший пропуска на вход. Весь мозг был на третьем этаже. Здесь гордились своей работой и нередко слышалось с пафосом: «У нас дураков не держат!», почему-то не всегда верно понимаемое чужаками. Но отступления побоку!

Александр Васильевич Саженков, из когорты чиновников, уже не подающих надежды, опоздал-таки на работу. «Служивые люди» уже успели испить утреннего чаю, скуриться, порассказывать служивые и потусторонние новости. Как водится, Саженков сразу же наткнулся на руководителя, совсем непосредственного, — Владимира Сергеевича Щуко, который встретил его своей излюбленной хитрой улыбкой на полном лице. Такие встречи всегда радуют начальство, особенно непосредственное.

— Ну что, пропащий? Сам лично тебя спрашивал, а я не в курсах, где ты изволишь пропадать. Зачем подставляться и меня подводить? Ладно, без объяснений. Давай быстрее к шефу и сам разбирайся. Там какую-то важную бумагу прислал Главупор.

Кабинет начальства стремительно надвигался на Александра Васильевича всей своей массой. Деревянный ящик проглотил Саженкова, и он оказался в предбаннике. Здесь его задержала Аделаида. Эта почти настоящая блондинка с цветущими голубыми глазами служила красивым контрольно-пропускным пунктом к начальству.

— Подожди! По какому вопросу?

— Сам вызывал, Адель.

— Ну и что. Я обязана доложить.

«Доложить» она сказала с таким напором, что желание треснуть ее чем-нибудь тяжелым по башке быстро улетучилось у Саженкова.

Она разомкнула одну из красиво обитых спаренных дверей, и Александр Васильевич закружил глазами по комнате, подавленный неумолимым законом жизни. Возвращенные из рая преданно-голубые глаза Аделаиды мгновенно обернулись в гневно-голубые.

Она бросила в ничтожного Саженкова: «Иди — давно ждет!», и он потрусил к самому начальству. Тряханув роскошной седой шевелюрой, Григорий Павлович Коновалов упер взгляд в подчиненного. Они стукнулись глазами, и взгляд Саженкова отчаянно побежал по длинному-предлинному столу, по бумагам, телефонам, по замечательной деревянной отделке кабинета, устрашающей противопожарной инструкции, по многочисленным томам Ленина, Маркса, Энгельса, Большой Советской энциклопедии и остановился на желтоватой елочке паркета.

Гладкое лицо Коновалова, без единой морщинки, несмотря на возраст, не шевелилось. Этот человек в элегантном сером костюме, удачно обтягивающем почти незаметный животик, удивительным образом казался за столом огромным мужчиной.

— С утра с собаками ищем. Все пропадает? — Вопрос томной дымкой плыл над душой. — Главупор прислал срочную бумагу, а человек на связи отсутствует. Нет специалиста по Главупору, и дело стоит!

Голос Григорий Палыча тяжелел. Этому чугунному гулу подпевал какой-то неясный шорох в груди Александра Васильевича.

— Меня удивляет твое олимпийское спокойствие. В общем, быстро принимайся за работу, и чтоб через час, максимум два ответ был готов.

Последние слова прозвучали как выстрел. Саженокв быстренько подхватил летящую бумагу, на ходу пытаясь постичь загогулины резолюции. Этот шифр давался с трудом, не то что Адели. Тем не менее ему удалось довольно быстро разобраться с текстом и сочинить ответ, а также сопроводительное краткое письмо для начальства, где излагалась суть вопроса. В машбюро сильно не затянули с отстукиванием. Александр Васильевич заходил лишь несколько раз к прехорошеньким девушкам шутить и канючить, но не пустой — он знал политес — с шоколадными конфетами, приобретенными по случаю.

Но все дело застопорил Щуко. Владимир Сергеевич долго налегал грудью борца на бумагу и отцеживал слова. Переставив их местами раза три, он недовольно швырнул ее и велел еще раз хорошенько подумать над ней. Увещевания в срочности дела не подействовали. Вновь Саженокв стал гонять строчки по разным углам. Наконец он принес второй вариант, который Щуко исправил и удлинил настолько, что мысль о согласии с предложением Главупора уехала куда-то вбок. Но в целом все было замечательно. Правда, Владимира Сергеевича смущала одна проблема: кому идти докладывать к Григорию Палычу. Подумав немного, он напомнил Саженкову, что Коновалов сам вызвал его, а посему задание идет с рук на руки и, следовательно, докладывать должен на этот раз лично исполнитель. Какая честь!

— Старик, ты же давно работаешь. Не смущайся!

С этим напутствием Саженокв устремился к начальству. Прошмыгнув под гневным оком жрицы предбанника, искушенной в слабостях начальства, Александр Васильевич предстал перед Коноваловым, который долго дочитывал бумагу очевидно исключительной важности. Наконец появилась рука. Мгновенно подана бумага, и, негодую от этого на себя, Саженокв затаился. Григорий Павлович прочел раз, затем второй, потом третий раз. Две страницы письма просто таяли под его испытующим взором. Он молчал и не подавал признаков жизни, если не считать кряхтения.

О, долгожданный момент. Он поднял очки и забубнил:

— Слушай, Саженокв, что так длинно? К чему так много слов? По времени затянул. М-да, надо дать простой ответ. Мы, мол, согласны, но напиши три строчки. Ты же не первый год работаешь, а все надо разжевывать. Предложение такое-то возражений в части, нашего ведомства касающейся, не вызывает. Сочини уголок для заместителя министра, где надо доходчиво изложить существо проблемы. Для этого ты можешь использовать то, что для меня написал. У тебя есть первое приближение, и как болванка она подойдет. Но бумагу эту отработай получше, чтобы было яснее и покороче. Сам знаешь, начальство не любит многословия. В общем дерзай, твори, думай. У нас же творческая работа. Мы на тебя рассчитываем.

Леденящий душу взгляд Аделаиды утвердил Саженкова в растерянности, в которой и встретил его Щуко.

— Ну, что бумага?

— Коновалов считает, что слишком длинно.

— Вот видишь, я тебе говорил, бумага не такая простая, как кажется на первый взгляд. Надо было ее еще доработать, да у меня времени нет. Делай, как сказал Григорий Палыч, только не затягивай. Бумага с утра ждет, — ковырнул Щуко его напоследок.

Саженкову безумно захотелось напомнить, что именно Щуко он предупреждал еще вчера, что может задержаться, но почему-то удержался.

В машбюро все началось сначала. Пришлось долго выслушивать стоны и причитания девушек вперемешку с призывами вначале согласовывать, а потом приносить работу, которую приходится по сто раз на дню переделывать, и что уже лента на пишущей машинке не выдерживает, и ее надо часто менять, а новую не дают. Вообще их слова о том, что «работа на корзину — это не дело», действовали на воображение. В конце концов с трудом ему удалось пропихнуть злосчастную бумагу побыстрее под обязательство поставить бутылку шампанского.

Только без четверти шесть Александру Васильевичу удалось вновь пробиться к Григорий Палычу. Начальник опять долго изучал три строчки, о чем-то тяжело думая. Экстрасенсные способности босса каким-то неведомым образом передавали эту тяжесть Саженкову. Но в его голове эта тяжесть наполнялась совершенно чуждой мыслью. Непонятная фраза муторно крутилась странной полурифмой: «Все, что мне осталось, нет тебя».

Но вот начальственный шорох переключил его внимание на Коновалова. Саженков вдруг заметил, что на столе под толстенным, может быть, бронированным стеклом лежали фотографии Григория Павловича. На некоторых Григорий Павлович был изображен во время встреч с зарубежными гостями на переговорах за границей; на других — в кругу семьи и друзей. Саженкову стало радостно оттого, что ему удалось разглядеть личность Коновалова на фотографиях. Как будто он мог узнать какую-то загадку природы? На одной фотографии он даже увидел Григория Павловича, снятого сзади. Даже не то чтобы совсем сзади, а так — сзади-полусбоку. А узнать Коновалова можно было по горделивому «полусбоку».

Опять шорох, и... подписано. Можно крикнуть внутренне «Ура!». Нет, опять кряхтенье.

Что он еще хочет, черт побери? А, это он так прощается. Теперь можно дуть домой. Но стоило ли спешить домой? Вечер готовил и даже предвещал характерно необычное собрание. Александр Васильевич вспомнил об этом и тут же отогнал подальше свои мысли, разбегающиеся в никуда. Внутри что-то заныло.

К восемнадцати ноль-ноль все дружно собрались со своими стульями в кабинете у начальства. Впрочем, не все. Заместители, завсекторами и главный секретарь собрания Аделаида устроились на стульях, которые жили в *этом кабинете*. Их как раз хватало на мелкое начальство.

Неординарность собрания была вызвана необычайной повесткой дня, то есть не ею самую, а одним ее пунктом — персональным делом коммуниста Саженкова Александра Васильевича. Но все по порядку. По первому вопросу «О производственных задачах отдела и текущем моменте» выступил товарищ Щуко В. С. Владимир Сергеевич долго крошил цитаты из газет и материалов последнего пленума ЦК КПСС, а затем в конце речи его голос вознесся над толпой сослуживцев.

— Товарищи! У каждого есть своя болезнь, у каждого организма, у общества, у цивилизации, наконец. В нашем отдельческом организме есть тоже свои хвори. Но я вам скажу мое личное, персональное, что ли, мнение, так сказать. Эти болезни знаете, что это такое? — заражал он коммунистов.

— Эти люди, с позволения сказать, людишки, и они нужны отделу.

В зале затаилась тишина. Лишь было слышно, как кто-то зашипел: «Ну и рванул!» Все чего-то ждали от мужественного и интригующего Щуко.

— Что им нужно? Я вам скажу, — хорошим выступающим голосом отвечал себе и всем заодно докладчик. — Им надо постоянно, так сказать, доказывать обоснованность

их пребывания в нашем отделе. А мы и они — вещи несовместные. — Так и сказал «несовместные», а не «несовместимые». (Недавно по телевизору крутили пушкинские «Маленькие трагедии», и кто-то нагло чирикнул в ухо: «Во режет, Сальери!»)

— Но я не призываю к грубым административным мерам. Нет, такие люди нужны даже в наших светлых стенах, потому что, переваривая их, так сказать, в топке нашего творчества, отдел доказывает свою жизненную силу, свою способность к преодолению болезней. Но любой организм долго терпеть не может. Мы все знаем, насколько терпим Григорий Павлович, я бы сказал, воистину, — тут он оговорился, — долготерпим. — Но вовремя осознав недопустимую ошибку, рухнул всей своей массой в слово «долготерпелив».

А дальше под чье-то аханье Щуко призвал нещадно искоренять болезни и малейшие признаки заболеваний. От оговорки и возбуждения он стал даже немного заикаться. Некоторым показалось, что вся наша жизнь сосредоточилась в одном Владимире Сергеевиче Щуко (конечно, после Григория Павловича Коновалова!). Эта безудержная мощь, заикаясь, пульсировала в своем накате на собравшихся, замиравших от восторга и трепета.

Потом были еще какие-то выступления, не такие яркие, но зато в том же духе: с призывами «бороться в целом и в частности до последнего, не щадя живота своего», а главное — чужого. Наконец подытожить возвысился сам Григорий Павлович. Он снял замечательные очки и заранее извинился за возможное превышение регламента. При этих словах председательствующий нервно дернулся.

— Поддержим, товарищи? — умоляюще зарычал он в народ.

— Все согласны, против нет? — запричитал ведущий. Дружное согласие потянулось изо всех углов; мелькнули даже улыбки на почтительно радостных лицах: «мол, что тут спрашивать, когда и так мы все тут согласные». И речь Григория Павловича обрушилась на притаившихся. Говорил он только чуть-чуть больше докладчика — минут сорок.

— Положение катастрофическое. Мы буквально задыхаемся от потока бумаг. Нам не хватает не только исполнителей — об этом я уже не говорю — просто машинисток. Штатов нам не дают, и выход один: работать, работать, еще раз работать по-ленински!

Он сыпал арифметикой, поглядывая в бумажку, составленную помощником и канцелярией специально по его просьбе, где судорожно пульсировала деловая жизнь. Его характеристики поражали не столько новизной подхода, сколько решительностью. Свою главную мысль Григорий Павлович выразил в конце выступления. Это было горькое сожаление по поводу отсутствия наличия критических выступлений. Его слова били колоколом.

— Больше нелицеприятной персональной критики! Она должна звучать публично, а не как-нибудь там за глаза, чтобы мы могли предметно покончить с этой эксплуатацией. Я не устану повторять свое собственное мнение: недоработка одного — это форма эксплуатации другого!

В скукожившейся тишине Коновалов сел. Ведущий обратился в народ с призывами высказываться, но после начальства таковых не оказалось.

А потом перешли к самому интересному, так сказать, десерту — персональному делу. Докладчиком был партийный вожак Кантемиров Иван Николаевич. Он вышел вперед, блестя лысым черепом. Иван Николаевич усадил свой живот на трибуну и довольно долго рассказывал, как он пытался вступить в контакт с Саженковым, а контакт почему-то все время не давался. Слова о контакте звучали как-то сексуально угрожающе. Во время спича он все время снимал и надевал очки, как бы приоткрывая шторы, но не сбрасывая их вовсе со своих глаз, ошупывавших залу и присутствующих.

Иван Николаевич напомнил собранию, что Саженокв задержал дважды уплату взносов. С места Саженокв неожиданно для самого себя выкрикнул, что он отсутствовал в момент сбора денег и потом уже все заплатил до копейки, но мудрый Кантемиров довольно ловко с лету срезал его.

— Во-первых, с места голоса не подают, а во-вторых, перебивать, да еще секретаря партийной организации, этично ли это? — вопрошал сам себя и других секретарь. Сотрудники задумались и всем своим видом дали понять, как это неэтично. Моральная победа Кантемирова задула фанфарами в уши собравшихся. В условиях сложной и без того международной обстановки, когда отдел выходит на передовой фронт борьбы идеологического противостояния, кантемировские призывы особенно остро пронизывали сотрудников и гнездились где-то глубоко в их сознании. Как-то стало особенно заметно, что с Саженковым рядом никто не сидит.

— В-третьих, — Иван Николаевич сделал красивую паузу (он вообще считал себя несостоявшимся актером, стремился использовать каждое выступление как своего рода репетицию и почитал себя мастером именно паузы, которую знал как держать), — Саженокв, — кстати, он избегал называть его «товарищ», — уклонялся от бесед, и я бы даже сказал, что он утратил, по существу, связь с нашей партийной организацией. И это в тот самый момент, когда на него пришла бумага из государственного учреждения. В ней довольно серьезные обвинения по поводу неэтичности поведения Саженкова. Вместо того, чтобы разобраться, посоветоваться с товарищами, обсудить все вместе, Александр Васильевич, — наконец-то назвал по имени-отчеству, — знаете ли, дистанцировался.

Последнее слово как-то особенно выразило глубину морального падения Саженокв. После эстета Ивана Николаевича взялся за слово Щуко. Владимир Сергеевич выдохнул с силой:

— Я считаю такое поведение недостойным коммуниста. Сотрудник нашего отдела, вы только вникните, *нашего отдела*, наш отделец позорит нас. Так каждый начнет творить черт знает что! Почему мы должны расхлебывать чью-то кашу и покрывать кого-то? Это пятно на нашу организацию, на отдел в целом, и извините, мне стыдно. Стыдно смотреть в глаза Григория Павловича. До чего мы докатились!

Подавленный, со стыдом и с видом готового разрыдаться человека, он ушел к своему месту.

— Кто еще желает высказаться? — поинтересовался председательствующий, обращаясь ко всем прочим, со стульями. Но тут выдвинулась уорент-офицер Аделаида. Когда-то определенный ею самую возраст сейчас очень подходил ей — простой мужественной женщине. Ее бюст швырнул в толпу (в основном мужскую) наболевшие слова.

— Да, я согласная с тем, что недоработка одного — это форма и эксплуатация! И не потому, что это от Григория Павловича.

Она заглянула в скомканную бумажку.

— Это действительно так. Что получается у нас? Документы сдают не вовремя или вообще не сдают, а они у меня числятся. Одна знакомая мне подсказала: а если проверка, кто будет отвечать? Опять пятно! Пятно на мне, на всех на нас, и получится — на отдел. Так мы можем подвести Григория Павловича и будем все в пятнах. А Саженокв тоже не сдавал документы. К нашему сегодняшнему собранию я вот специально проверила и обнаружила, что за ним числятся номера, целых шесть штук. Это только за два последних месяца, а если глубже копнуть, кто знает, что там выяснится? Конечно, я понимаю, вы знаете, что бумаги надо исполнять и они должны быть у исполнителя, но подолгу их держать — это уж не годится. Я кончила, впрочем, нет. Я пользуюсь этой высокой трибуной, чтобы всех призвать к порядку, которого нам всем так

не хватает для повышения эффективности работы нашего любимого отдела. А особенно молодых. Сотрудников, — через паузу добавила Адель и двинулась на место, размахивая своим модным платьем, словно знаменем отдела. Шуко и Кантемиров внимательно следили за движением плотно облегающего знамени. Даже Григорий Павлович слегка, незаметно для всех скосил глаза.

Решительность переполнила сердца отделцев, и кто-то посмелей подал голос с места:

— Пусть Саженок сам скажет, как у него все это получилось.

Ведущий устремил свой носик в народ, потом на Кантемирова и Коновалова.

— Есть другие мнения?

Других мнений не было, и тогда он с удовольствием провозгласил:

— Ну что ж, Саженок, — тоже не сказал «товарищ», — вам слово. Народ просит.

В голосе впередсмотрящего зазвучало откровенное любопытство. Путаясь в стульях, виноватый начал продираться к трибуне — переносному ящику, стоящему на столе в центре кабинета Коновалова (он также использовался как урна при крайне редком тайном голосовании). Этот обычный, внешне ничем не примечательный человек стал казаться каким-то чахоточным. Глаза его приняли выражение тающих свечей. Тяжело бремя ответственности, тем более в условиях публично доказанной вины. Несколько раз он начинал говорить, но начало как-то все время ускользало от него.

— Товарищи! — В его голосе почудился хрупкий призыв к какой-то не нашей человечности. — Я хотел бы сразу объясниться, чтобы все было ясно до конца. Совсем я не хотел терять контакт. Зачем, да и к чему? Я не согласен, что утратил связи с организацией. Просто все обрушилось на нас, и я был в отпуске, а потом взял за свой счет. Но взносы я выплатил позднее. Вообще, вы знаете, состояние такое, какое-то подавленное, ведь мы такое пережили, не приведи Господь. А сейчас надеемся на лучшее. Очень надеюсь на лучшее. Вы знаете, врачи разные бывают. Случается, попадают очень грубые, а бывают ситуации, моменты такие, ну, что ли, деликатные.

Глаза у Александра Васильевича как-то по-особенному посветлели и стали необыкновенно прозрачными. Голос его затрепетал, как будто попал в силки, но он сумел справиться с этим жалким трепыханием.

— Вы знаете, мне тяжело об этом говорить, но когда родился ребенок, я обрадовался, а потом врач сообщил ужасную новость. Я не знал, что делать, а мне говорили, что надежд на исправление нет. Я не мог даже толком посоветоваться с женой, чтобы не травмировать ее, пока она оставалась в роддоме несколько недель. Я консультировался с разными светилами. Кто-то говорил, что врачам невыгодно, когда оставляют детей, хотя для меня это была чудовищная перспектива, а может быть, это и неверно то, что говорят про врачей. Не знаю. Я попытался просто посоветоваться с доктором в больнице. Я хотел узнать, как быть, что делают в таких случаях. Ведь голова же кругом шла, и тысяча сомнений. А врач стала мне грубить, оскорблять меня с женой. Чуть ли не алкоголики и наркоманы мы и специально все это делаем. Я пришел настаивать за помощью к врачу, а нарвался на ужасные обвинения. Наверное, я не сдержался. Не помню, что говорил. Голова плыла, но, видно, сказал что-то обидное для нее. А теперь вот письмо на меня в парторганизацию. Вы знаете, уже и нет ничего, то есть никого... а письмо есть. Получается, я виноват. Я не знаю, что сказать... у жены такое состояние. Но надеемся на лучшее. Вот и все. Но если я виноват, — словно вспомнив что-то, добавил Александр Васильевич, — то прошу прощения. Прошу не выгонять меня из партии и не лишать работы.

Саженок замолчал, только руки его терли трибуну по бокам, как будто это могло смягчить кого-то. Пауза стала какой-то нехорошей, неорганизованной, и выручил, как всегда, Иван Николаевич.

— Вот скажите, Саженков. Почему вы ставите под сомнение свою вину? Говорят, говорят. Что значит «говорят»? Зачем опираться на непроверенные домыслы? Ведь вы — уже взрослый человек, подбираетесь к сорока годам и были подающим надежды работником с определенным стажем. Почему прямо не прийти в парторганизацию и не посоветоваться? Ну не звери же мы кровожадные, — вожак даже позволил себе улыбнуться, довольный своей шуткой. — Зачем было доводить дело до сигналов и писем? Что теперь делать? Бумагу-то надо закрывать. А что мы можем сделать? Что мы теперь можем сказать? Что кто-то что-то говорил? Это все несерьезно. Я думаю, вы не совсем искренни с товарищами по партии и чего-то недоговариваете. А это совестно, не говоря уже об этике и эстетике.

В момент «эстетической этики» неожиданно для всех поднял руку Андрей Петрович Кузнецов. Он нечасто выступал, и его появление, тем более по такому вопросу, особенно удивило. А более всех забеспокоился Иван Николаевич, чей клюв вопросительно заметался по рядам начальства. Андрей Петрович вышел на сцену, то есть к ящику, откашлялся и устремил глаза в собравшихся.

— Скажите, зачем мы здесь собрались? — Вопрос поразил своей изумительной простотой собравшихся. Кантемиров попробовал было что-то чирикнуть, но Кузнецов властно остановил его рукой.

— Вот перед нами Саженков. Ну, хорошо, он нагрубил. Допустим. На него пожаловались. Ну, может, повел он себя как дурак, Так что, мы его судим за то, что он — дурак? А может, мы не поняли существа дела? В конце концов получается, мы ведем разбор дела из-за того, что родился ребенок, которого нельзя было вылечить и которого уже, кстати, нет в живых. Это несчастье! Но если человек, подавленный горем, что-то там наговорил в сердцах, то что же это за врачеватель душ такой, что тут же пишет в партийную организацию? Ах, ее, видите ли, обидели. А она что, была милой и непосредственной? Мне думается, что лучше все это закончить и сообщить в больницу, что не мешало бы разобраться с этим врачом. Чем она там занимается, и, вообще достойна ли продолжать врачебную практику? Где врачебная этика, в конце концов?

Андрей Петрович хотел было сесть, но задержался.

— Все здесь присутствующие, возможно, полагают, что их это не касается и сами они, каждый в отдельности, никогда не окажутся в подобном положении, когда начнут разбирать семейную жизнь или иные индивидуальные прегрешения. Но хочу предостеречь: равнодушие может сыграть скверную шутку с каждым из нас. Нельзя спрятать совесть в карман и вынимать ее по мере надобности, а сегодня — извините за высокий стиль — мы переживаем час испытания. Давайте жить по совести, как говаривали в старину, о чем мы, к сожалению, давно позабыли.

Андрей Петрович сел на место, но ощущение было такое, будто он продолжал говорить. Его выступление испортило всю слаженность мероприятия. На него боялись смотреть. Правда, некоторые искоса бросали любопытствующие взгляды. Было ужасно интересно, как начальство и партком отдела управятся с этим недоразумением. Ведь раскол в рядах недопустим, иначе что же будет? Так всякий начнет говорить всё, что думает? Решительность собрания совсем размякла. Ведущий отпустил еще более потерянного Саженкова на место. Выручил опять, как всегда, неутомимый Иван Николаевич. Кантемиров выскочил на сцену и, не спросив у ведущего, молвил:

— Товарищи! Это какая-то дезориентация! Эти слезливые слова нас не разжалобят. У нас есть бумага. Она пришла сверху, и на ней резолюция «Разобраться!». Вы знаете, что это значит? Это значит, что нам надо реагировать на нее. Проступок совершенно очевиден, а все эти стенания никого не трогают. Я предлагаю вынести Саженкову выговор, хотя мы подумывали и о его исключении из рядов КПСС. Как вы понимае-

те, исключение могло бы повлечь за собой и постановку вопроса о целесообразности продолжения его работы. Об этом нам прямо указывали в парткомитете нашего министерства. Поэтому мы предлагаем ограничиться выговором. Что касается его дальнейшей работы у нас, будь то отдел или наше учреждение в целом, то пусть этот вопрос решает администрация совместно с расширенным парткомом ведомства после окончательного рассмотрения вопроса о партийной принадлежности Саженкова. Если же мы будем миндальничать, то боюсь, завтра у нас совсем дисциплина развалится, и с нас спросят за это. Строго спросят и с администрации тоже. В общем, хватит прений, пусть огласят решение нашего собрания, которое мы тут подготовили. Я имею в виду партбюро нашего отдела.

Кантемиров зашипел на ведущего:

— Ну, что ты там теряешься? Не знаешь, как ведут собрания?

Председатель подсобрался и попросил огласить проект решения. И огласили. В нем емко звучала мысль о выговоре за недостойное поведение и прочее, прочее. Ведущий предложил с подсказки Кантемирова голосовать. Все дружно подняли руки «за». Против оказались Алексей Михайлович Церковный, один из ведущих специалистов отдела, и, естественно, раскольник Кузнецов. Была, правда, еще пара рук воздержавшихся диссидентов.

Собрание опять загудело. Кто-то потребовал, чтобы объяснились те, кто не поддержал решения. После длительных дебатов Кантемиров резюмировал:

— Ну, люди могут голосовать, как они считают нужным. Могут, в конце концов, воздержаться. Мы не можем никого неволить, — неуверенность зазвучала в его голосе. Это дело партийной совести каждого. Здесь просто возникает вопрос, с кем они и кто есть кто. Андрей Петрович уже высказался, а вот Церковный ведет себя непонятно. Ведущий специалист, и вдруг такая эскапада! Не знаю, чем это можно объяснить, может, фамилией? — позволил себе пошутить Кантемиров, как бы снимая напряжение. — Ну что ж, придет время, и мы каждого сможем спросить по-партийному: где твоя активная жизненная позиция, как ты активен и что вообще думаешь? Под корягой никому не удастся отсидеться.

Собрание почти закрывалось, но тут взял слово Григорий Павлович.

— Товарищи! — объявил он начальственным негромким голосом, к которому надо было всегда прислушиваться. — Я хочу внести ясность, чтобы не было никаких сомнений. Мы здесь не для того, чтобы ломать людей через колено. У нас одна задача — работать. Все, что мешает, следует преодолеть. Но нам не нужны ненужные проблемы. — Начальство показало, что оно не чуждо каламбурам. — Я считаю, наша партийная организация отвлекается от основной работы. Сколько перед нами задач: работа с молодежью, подъем производительности труда, улучшение качества бумаг и т. д. и т. п. А мы что? Я вас спрашиваю: мы-то что? Мы занимаемся персональными делами. Наш отдел должен с честью нести свое имя. Мы не позволим никому, слышите — никому его запятнать!

Коновалов говорил с пафосом, с трудом сдерживаемым.

— Я хочу предупредить на будущее, чтобы не было никакого недопонимания. Наши сотрудники должны вести себя так, чтобы не попадаться в ситуации, которые могут в ложном и превратном свете представлять наш отдел. Отдел и его интересы — это все. Не надо попадаться туда, куда не надо попадать вовсе! Вот это все, что я хотел сказать вам.

Воцарилась тишина. На ней собрание и кончилось. Народ загудел и повалил со стульями вон. Все смешались: подсудимый, общественные обвинители, судьи, соучастники-свидетели. Потом некоторые сгруппировались, и образовались теплые клубы

разговоров курильщиков. От массы отмежевалось мелкое начальство, которое осталось по просьбе Григория Павловича обсудить срочные дела. А Саженок? Он был курящий, но чувствуя свою зачумленность, пошел на выход, где случайно — действительно случайно, уж поверьте мне (хотя, как говорил классик марксизма-ленинизма, «случайность — это выражение осознанной необходимости») — вместе оказалась тройка оппозиционеров.

Кузнецов рассмеялся:

— Мужики! Нас — трое, и мы можем отметить свою фракционность. Вспрыснем, а?

Но Алексей Михайлович куда-то спешил, а Саженок стал мяться. Он не знал, как лучше поступить. Могут увидеть случайно, что они куда-то идут вместе, и его собутыльники могут пострадать за участие в возможных заговорах.

— Ну что же, отложим тогда до другого случая, — подвел черту Андрей Петрович и пошел домой, где действительно отметил свою оппозиционность. На кухне за ужином он рассказал жене не без удовольствия о борьбе за правду. Его рассказ был очень красноречив, и кончил он его утверждением, что правда одна и если Бог есть, то он все видит и отмечает добрым знаком истинных людей, то есть правдолюбцев.

Примерно в то же самое время Александр Васильевич тоже сидел дома на кухне, но один, если не считать записки, которая встретила его вместо жены. Она не ошеломила его, хотя и ударила.

«Саша! Будь мужчиной. Я все понимаю, но больше нам быть вместе невозможно. Прости, что ухожу не простившись. Мне кажется, так будет лучше. Формальности решим позднее. Лена».

Саженок затаился. Прочел раз, затем второй, потом третий раз. Но записка не исчезала и упрямо смотрела на него своим черно-белым взглядом.

«Текст очень обычный, и предложения коротковаты», — почему-то проплыло где-то в сознании. Удивления особенного не было. Он ждал расставания. Страшное событие развело их жизнь в разные стороны. Незаметно отчужденность между ними выросла настолько, что не осталось даже раздражения.

«Одна вина, одна вина, и все на мне», — пьяно гуляло в Саженкове. Никаких ссор и скандалов. Совсем неинтересно, даже делить нечего. Несовременно. Просто ушла, наверное, к родителям. Все спокойно. Что может быть идеальнее брака равнодушных друг к другу людей? А было, когда-то было... и как сильно.

Александр Васильевич вспомнил дурное предзнаменование — опоздание на собственную свадьбу. Мысли соскользнули на плакучее от дождя окно, за которым он когда-то побежал. Стоило ли догонять тот троллейбус? О любовь! Вечная бродяга. Десять лет жизни, десять лет счастья. Бежал от одиночества к семье, чтобы стать свободным теперь, подбираясь к сорока годам. Что делать с этой свободой? Напиться? Поискать другое лекарство от любви? И то и другое сразу? Но ничего, и никуда, и ни с кем не хотелось. Мир раскололся надвое, и во тьме горели слова: «Все, что мне осталось, нет тебя!» Так ему казалось, но на самом деле все жило своей прежней, задуманной кем-то жизнью. Хотелось пристать к кому-нибудь с тривиальным вопросом: «Как же так? За что?»

«За то!» — промычал сам себе Саженок и внезапно, словно что-то вспомнив, пошел за рукописью, которую вел для баловства. Теперь некому было ворчать по поводу его графоманства.

Ну что ж, жизнь сама подсказывает эту историю. Кажется, я начинаю верить в хобота. Он раскрыл папку.

Что там понаписалось? На первой странице блокнота было выведено большими буквами название: «Хобот».

«ХОБОТ

Моя фамилия — Голод, но так случилось, что моя фамилия не прижилась ко мне. Фамилия, подобно каждому слову, имеет самостоятельное значение и свою жизнь. Она может даже с кем-то не уживаться.

Моя фамилия невзлюбила меня. Я думаю, виной тому — моя внешность, мое лицо, а точнее говоря — мой нос. Эта выдающаяся часть лица — действительно моя самая выдающаяся часть.

Нос сам по себе уникален. Недаром этот особенный орган, а вернее, его отсутствие послужило предметом изображения Маститого. А уж если нос так выделяется, что фамилия отстывает, то можете себе представить, каков этот нос? Короче говоря, Голод уступил место, но не носу или носине. Нет, на его место пришел Хобот.

„Бред какой-то, — подумал Саженков. — Почему я выбрал нос? У меня он как будто средних размеров, да и все это давно описано“.

Началось это с детства, — продолжал свое чтение Александр Васильевич. — В школе по чьей-то ребячьей шутке это прозвище пристало ко мне. А затем каким-то неведомым мне способом эта кличка стала кочевать за мной и утвердилась в моей настоящей жизни. Мне даже кажется, что меня всегда звали Хоботом, и я так привык, что мне и в голову не приходит обижаться, когда меня называют Хоботом.

Тем более что у этой головы такой замечательный, необыкновенный хобот. Я стал Хоботом. Я свыкся с этим необычайным состоянием и стал чувствовать себя Хоботом. Мне нравится, что у меня есть хобот. Может, в этом есть какое-то знамение?

Но оказалось, что быть Хоботом вовсе не означает, что можно нести себя наверху, лишь по желанию опускаясь вниз, припадая к суетной жизни. Так иногда фамилия все же давала о себе знать, заставляя меня чувствовать себя Голодным Хоботом. Но я не обращал на это ни малейшего внимания, о чем, впрочем, позднее я очень и очень пожалел. Забытая фамилия сумела посмеяться над Хоботом и расплатиться за отсутствие внимания. Отсутствие внимания! Этой важной теме следует посвящать исследования. Не исключено, что удалось бы избежать множества ошибок и даже преступлений, если бы мы научились сразу же замечать это. За этим так легко ползет обида, а уж эта всем знакомая особа способна организовать отчаянное шествие, которое столь просто остановить. Но тогда — тогда я не подозревал, чем чревато отсутствие внимания.

Итак, я живу жизнью Хобота, и благодаря этому мне удастся многое видеть и познавать по-иному, возможно, видеть то, что не всегда сразу заметно. В общем, я постигаю жизнь по особенному, одному Хоботу ведомому способу. Я не говорю о простом осознании или обонянии, хотя, случается, и эти качества, как и какие-то стороны жизни или чувства, утрачиваются с годами, оказываются вне нас. Видимо, все стареет, и чувства тоже. Незаметно для нас самих исчезает эта легкость, с которой так просто уместить весь мир в себе, и при этом он нисколько не раздувает нас изнутри.

Так вот, жизнь Хобота заполнила мое существование. Иногда мне казалось, что я растворился в Хоботе, в его удивительных способностях. Как ему удастся все разглядеть? Для меня самого это загадка. А как он все подмечает! Как разбирается в людях, причем мгновенно! Я не могу понять его природу, но я знаю, что его оценки в 99 случаях из ста точны. Даже когда я протестую против его суждений, пытаюсь оспорить его выводы, впоследствии он всегда оказывается прав. Да, его суждения почти бесспорны, только они не слишком радуют. Одно странно: чем больше Хобот подмечает несуразностей и дикостей в жизни, тем меньше неприязни вызывают их виновники, хотя должно было бы быть все наоборот. Оказалось, что Хобот не способен на злость.

Просто многое оказывается настолько понятным ему, что даже жестокость не вызывает у него озлобления. По его мнению, это сродни раздражающим крикам ребенка, на которого не станешь же дуться. Хобот помог мне понять истоки унижения. Это отчаяние приобретает такие фантастические формы. Насколько сам человек превратился в фантазию, настолько другого и затопчет. Эта довольно примитивная логика, увы, очень даже часто, как подметил Хобот, сбивает с толку и запутывает, притом нередко весьма одаренных людей. Ну как их ни пожалеть, несмышленных, если они такие восхитительные в своей разности? Это все фантастика их так мучает и скорее вызывает изумление. Как бьются враждующие? Только диву даешься. Ну и нервы! Впечатление такое, будто одно сердце хочет собою разорвать другое.

Но у Хобота бывают и другие наблюдения. Идут, скажем, влюбленные, делают вид, что не так уж они близки, а ему за версту видно, какая у них длинная единая тень. Или встречается впервые человек, а он — как старый знакомый. Да, интересно наблюдать! А как презабавно представлять людей в разных жизненных ситуациях, расставляя их по жизни, словно шахматные фигуры на доске. Не успеет Хобот выдать свою комбинацию, как уже шахматное поле словно в кино оживает, и все именно так и происходит. Эти игры настолько захватили меня, что появился даже какой-то азарт. Но я бы не хотел создавать впечатления, будто бы Хобот подобен рентгену и каждая душа видна ему, как Богу. Для Хобота это действительно игра-угадайка, и хотя и редко, но ошибиться тоже очень забавно. Кстати, эмоции и вообще все личное чаще толкают на ошибку. Они как дождь: пока льет — все видится неясно и очертания причудливы, а пройдет — все становится чистым и замечательно четким. Впрочем, это — банальная истина, и, возможно, Хобот тут ни при чем. Я хотел бы сказать другое. Не подумайте, что Хобот давал какие-то преимущества. Я жил такой же жизнью, как все. Работал в своем ведомстве, где каждая жизнь чертилась невидимой рукой по неведомой линейке. Я также ухаживал за девушками, пока не встретил Ее — свою половину...»

«Зачем я приплел эту неведомую руку, невидимую линейку? — Александр Васильевич задумался на какое-то время, но потом встряхнулся. — У меня тоже все свелось к старому как мир — встретил свою половину».

«...Встретил Ее — свою половину! Если бы я попытался передать ее внешность, то, пожалуй, меня могли бы обвинить в излишней романтичности. Я бы не хотел заявлять безапелляционно, что она прекрасна, хотя я именно такого мнения о ней. Но я понимаю, что мнения бывают очень и очень субъективны, особенно в этой области. Тем более так сложилось, что я сам-то не сразу обнаружил ее красоты и, вероятно, вы тоже с ходу, без подготовки могли бы и не разглядеть ее. Впрочем, знатоки утверждают, что на ходу вообще трудно заметить прекрасное. Но как бы то ни было, она сразу показалась мне какой-то особенной.

Я знал ее довольно давно. Мы часто общались, и я позволял себе — а может, это она позволяла мне — подтрунивать над ней. Я пугал ее, что вот соберусь и приволокнусь за ней, хотя говорил это как-то не всерьез, просто так. Но тем не менее я любил живописать ей, как дарю цветы, мокрые от ожидания под дождем. Как, наплевав на работу, я гуляю с ней и улицы плывут перед нашими глазами, которые видят лишь друг друга, а потом внутренне дерзко выслушиваю упреки начальства, обещания примерно наказать и даже уволить, зная истинный смысл жизни, а не существования. Возможно, эти картинки забавляли ее... она улыбалась. Вот эта улыбка и доконала меня. Нет, я не собираюсь излагать ничего такого джокондовского. Просто, собственно, через эту улыбку я полюбил ее и осознал ее красоту. Правда, ничего удивительного в этом нет. Когда удается развеселить симпатичную женщину, настроение улуч-

шается, не правда ли? Плетешь черт знает какую чушь, но не все ли равно? Лицо ее светится, в глазах появляется что-то обещающее, укрепленный, несешься из прозябания в надежду... В общем, нельзя сказать, что это редко встречается.

Итак, она проникла в меня. А когда в тебе поселится какое-то иное существо, равновесие удваивается и ты тверже стоишь на ногах и начинаешь думать о блаженстве. Вечном. Вот здесь-то собака и зарыта. Стремиться к вечному, когда все вечное и устойчиво незыблемое так не соответствует нашей природе, а уж тем более если речь идет о блаженстве. И вообще, наверное, блаженство вечное может оказаться прескучным. Но тогда я так не считал, да и разговоры такого рода навряд ли проникли бы в меня.

Некоторое время спустя моя любовь, я бы сказал, уполовинилась. Все оказалось засунутым в гармонию. Мир разделился во времени: до нашей эры и наша эра. Тогда я не подозревал, что может наступить что-то после нашей эры. Уже и не помню теперь, сколько все это блаженство продолжалось. Но безоблачным небо долго не бывает, особенно у нас.

Вы, верно, подумали, что какие-то внешние обстоятельства, точнее, условности сумели омрачить наше счастье? О, если бы это было так, я был бы по-своему удовлетворен, свалив все на внешние причины. По крайней мере мог бы объяснить, хотя бы для себя... Увы, внешних препятствий вообще не было. В некотором роде можно было позавидовать более удачливым в этом отношении Ромео и Джульетте, у которых оказались такие беспокойные родственники.

Изменение началось незаметно. Я вдруг стал замечать, а точнее, у меня стало возникать такое ощущение, будто бы все это я где-то видел либо каким-то неведомым мне образом переживал ранее. Мне стало казаться, что я все время что-то повторяю и живу чьей-то чужой, уже изжитой жизнью. Это стало разъедать меня, а заодно и мою любовь.

Вот вхожу я, например, в ее подъезд, поднимаюсь на второй этаж. Осторожно нажимаю на кнопку звонка, который висит на проводе и норовит пощекотать током мою влюбленную руку, а мне кажется, что когда-то очень давно все это уже было».

Саженок вспомнил, где он видел этот звонок, и в нем снова заняла память. Чтобы избавиться от нее, он швырнул свою рукопись, но потом все же опять стал читать, удивляясь своему почерку, который стал казаться ему незнакомым.

«Я с ней. Казалось бы счастье, а меня опять тревожит это усталое чувство. Со временем я понял, что это странное чувство возникло давно, только вначале оно было каким-то робким, и я не обращал на него внимания. Но в чем я уверен, так это в том, что оно начиналось тогда же, когда зарождалась наша эра. Я предвижу укоризненные взоры — мы так на них горазды — и сразу же постараюсь объясниться. Я бы не сказал, что я не способен на любовь. Мне кажется, каждый имеет к ней способность».

«Хорошее я сделал открытие, — подумал Александр Васильевич. — Как забавно: собственное писание может тоже удивлять».

«Но это ощущение — обманное или реальное, не знаю, — нарастало постепенно и незаметно, как ногти или волосы. Жаль только, что его нельзя было отстричь ножницами. Безусловно, долго это не могло оставаться незамеченным. К тому же женская половина — народ не то чтобы наблюдательный, а, скорее, островидящий, но не глазами, а увлеченностью своего сердца. А если это — любовь, то женщина может заметить много такого, чего ей вообще лучше не знать. Я бы даже осмелился заключить,

что наблюдательность такого сердца, пожалуй, может очень навредить его хозяйке. Короче говоря, она стала замечать во мне перемены или измену — не знаю, как лучше это назвать. Измена плоти, перемена сердца — кто знает, что страшнее? На какие только хитрости, притом весьма утонченные, ни пускалась она, чтобы понять, что со мной происходит. Но как ей, бедной, было уразуметь то, что я не в силах был сам постичь. И в это самое время во мне вдруг опять проснулась тяга к распознаванию, которую на время оттеснило в сторону блаженство. Самое ужасное — объектом этого познания стала Она, хотя, клянусь, вопреки моей воле.

Очнувшись, Хобот так и пищал от удовольствия, когда подмечал что-то новое или угадывал ее, тем более что теперь это было не очень сложное чтение. Вот когда Хобот напомнил, что может быть голодным. Фамилия давала знать о себе. С каким азартом Хобот следил за всем происходящим и высказывал свои чудовищные мнения, от которых хотелось бежать куда глаза глядят. Наступала пора очей разочарования. А что делал я? Размышлял о своем состоянии, хотя мало что понимал. Просто плыл по течению. Так я и жил не собою какое-то время. Да, это была жизнь Поникишего Хобота.

Но однажды моя уставшая боль или чувство, намокшее от обиды неизвестно на кого, кольнуло меня озарением. Я понял: меня угнетала тоска по любви, а скорее, не-постижимость утраты. А может, то было ощущение невозможности полюбить вновь? Оказывается, закон сохранения энергии действует и в любви. Я думаю, моя обида, а может, Хобот сделал это открытие. Я почувствовал, что если бы я даже встретил свою, на этот раз точно единственную, то все равно не был бы в состоянии пылать так же безумно, хотя безумное пламя менее всего годится для жизни. Вообще, безумства хороши только в театре, а в жизни они быстро утомляют.

Неудачи в делах такого рода многим знакомы. Нормальные люди не устраивают трагедий из этих болезней и не впадают в мировую скорбь. И очевидно, правильно делают. Но меня мучил вопрос как бы в теоретическом плане — вопрос об уникальности чувств. Человек — это свой мир и свои неповторимые чувства. А если они утрачены, неповторимые, что тогда? А если появляется что-то новое, то как это определить? Каждый раз это будет уникальное чувство? Увы, ответа не было. Хобот не всегда давал о себе знать после этой нашей эры.

Я тоже старался быть нормальным, но нормальность давалась с трудом. Жизнь не оказывала на меня своего воздействия. Возможно, мешал Хобот, а может, его вялость. Тогда я понял — надо действовать и энергично. Нас с детства учат быть активными. Долой нытье! Под этим лозунгом я оголтело бросился на судьбу. Результат этой битвы превзошел все ожидания. Через некоторое время, мне кажется, мое состояние стало необычайно нормальным. Эта жизнь потекла минутами, днями, неделями. А недели — недели, как капли сосулек, соскальзывали в месяцы. Правда, Хобот иногда шептал мне в ухо что-то не очень понятное. Будто я сам превращаюсь в сосульку и с каждой неделей становлюсь все меньше и меньше, а потом в один весенний день, к удивлению и забаве прохожих, грохнусь на мостовую. И никто, ты слышишь, — добивал меня Хобот, — никто не узнает место излома.

Но я больше приобщался к иному. Я стал интересоваться окружающей жизнью. С пьяным энтузиазмом стал ходить на работу. Стал замечать, что она может завлекать даже меня. Это открытие прямо-таки шлепнуло меня в самое никуда. Меня даже стали замечать в качестве специалиста, что в нашем уважаемом министерстве, не знаю, как в вашем, нечасто происходит. И я стал себя ощущать еще более специалистом. А некоторые, отзывчивые, даже вспомнили о моем давно забытом имени. Вообще самоутверждение в качестве опять подающего надежды работника происходило презабавным образом. Иной раз вовсе непостижимо для меня.

Главным было не только не растеряться, но и не потеряться, то есть я хочу сказать, не потерять себя для самого себя. Хотя, впрочем, такие потери не сказываются на показателях производительности труда. Мои тревоги были моими мелкими трудностями, которые не должны были препятствовать новому восходящему движению. Кстати, на работе мне неоднократно указывали по поводу моего амурного откровения, отмечая мой основной недостаток — чрезмерную чувствительность, которая препятствует нормальной жизни. Товарищи — а они у меня есть даже на работе — честно болели за меня и предлагали самые различные способы по исцелению моего главного недостатка, указанного выше. Признаюсь, они мне впрямую говорили:

— Хобот! Хочешь, прям щас познакомлю тебя с отличным средством от твоей неземной любви?

Потом я стал получать рецепты такого рода все чаще и чаще, но они, к моему удивлению, действовали скорее прямо противоположным образом. Ну что было делать? Ведь я все же оставался пусть вялым, но Хоботом. А то, что Хобот бывал голодным, разве в этом была моя вина? Он слишком поспешно выдавал свои заключения, хотя в этих случаях его быстрые и точные прогнозы скорее раздражали. Вообще Хобот стал беспокоить меня. После этих внезапных прогнозов он как-то стал угасать, и я стал ощущать, что теряю его. Удивительное дело, чем более я произрастал на служебной ниве — в особенности после того, как я дочитал свою теперь уже, увы, утраченную половину, — тем менее он давал о себе знать. А затем он вдруг начал резко сдавать, все хуже и хуже подмечая то, что раньше схватывал мгновенно. Впрочем, я себя утешал тем, что не очень хотелось что-либо замечать. Затем со мной произошло совершенно необъяснимое. Однажды взглянув в зеркало, я не увидел своего отражения, то есть отражение было, но не было главного — отражения Хобота. Я — человек, далекий от мистики, и потому не придавал вначале этому обстоятельству должного значения. В конце концов, какое имеет значение, видите ли вы свое лицо или нет? Как будто без него не может прожить человек, да еще подающий надежды! А здесь вообще форменная чепуха, какой-то нюанс. Отражение есть, но не того лица или лица, но не совсем с тем выражением. Имеет ли это какое-то значение?

Эта загадка добавилась к моим треволнениям, от которых я спасался во внешних обстоятельствах, все больше меня занимавших. Я утопал в роскоши житейских отношений, а суета приносила удовлетворение занятостью. Лишь свободное время дарило огорчения и разочарования. От них я бежал в сверхурочную работу, дежурства, халтуру, наконец, в общественную деятельность. И вот в тот самый момент, когда казалось, я достиг порога, за которым царила абсолютная наполненность, страшное открытие продрало мое нутро. Я осознал, что я растворился в чужом человеке. Это был как будто бы я, но в то же время у меня с этим сапиенсом было мало общего, за исключением внешнего облика и ряда социальных поведенческих актов. Ощущение было такое: будто стоишь на распутье и должен решить, куда идти, но на самом-то деле пути вообще никакого нет, и ты знаешь об этом, но все равно делаешь вид, обманывая самого себя, будто бы есть выход. Единственная реальность — это необходимость что-то решить, и притом немедленно. Я был потерян в этом небытии, и в этот самый момент, как в сказке, появилась надежда».

«А где мне взять надежду? — подумал Саженков. — Где надежда, с которой так легко смотреть в мир, окружающий тебя. Неужели только в детстве? С годами мир не становится своим, все только усложняется и упрощается одновременно, а точнее, становится более примитивным. А потом появляется скука. Ходишь по одним и тем же местам и думаешь: неужели весь этот таинственный и огромный мир сводится

лишь к этим порогам. Ах, Антон Павлович! Жизнь как будто и не заметила, что прошло более ста лет. Куда-то из нее выпрыгнули преждевременные человеки. А где небо в алмазах? И кто когда его увидит? Так и хочется спросить: а будет ли кому смотреть на него?»

Ошалев от чтения, Саженок вышел на балкон. Окна домов перемигивались, как бы спрашивая друг друга: «Ты уснул?» Внизу ползли машины, ощупывая фарами дорогу. Было приятно дышать апрельским ночным холодом. И не хотелось думать ни о чем, а хотелось Александру Васильевичу превратиться в тугой воздушный шар и лететь, лететь без сопротивления, подчиняясь только ветрам. Пусть несут, куда им вздумается, пусть несут, пока хватит силы нести! Но он не умел держать нос по ветру, да и не было силы, которая могла бы поднять и увлечь его теперь. Шар оставался без движения. Саженок стоял на балконе до тех пор, пока не погасли все окна в доме напротив. Луна, торгующая светом в осколках тающего льда, напомнила ему, что этот день был прожит вопреки его воле.

Он вернулся в комнату и лег спать. Долго ворочался, вспоминая пережитое унижение, попытки что-то выпросить. Смутно выпрыгивало булгаковское «никогда ни о чем не просите!». Даже ради семьи, которой теперь нет. А сами, пожалуй, не придут и ничего никогда не предложат. На этой мысли вконец утомленный Саженок вполз в муторный сон.

И видится Александру Васильевичу огромный, серого камня, казенный дом, в котором все дрожит. Подпрыгивают этажи, вздрагивают кабинеты, слышится железное побрякивание всей этой официоз-громады. Служащие прыгают в скользкие лифты. Иногда двери лифтов прихватывают бумаги, и летят крики и брызги крови. Под огромным лозунгом «Вся власть инструкции!» Саженок видит себя в толпе служащих. Как и все, спотыкаясь, он спешит. Его влечет за собой папка с бумагами. Как и у других, она норовит вырваться из рук, так как в ней шевелятся бумаги, и они — живые существа. Страшный толчок, и Александр Васильевич летит в неожиданно явившуюся дверь. Еще секунда, и он разобьется, но в самый последний момент, когда сердце его сжимается, как это нередко бывает во снах, дверь размахивается, и он оказывается в тихом, приятном полумраке. Впереди — таинственный мягкий свет, озаряющий картину в человеческий рост. На ней мускулистый акробат в черном трико завис в воздухе, совершая необычайно опасный трюк. Самое интересное то, что он одновременно показывает большую фигу зрителю. Особенно противно притягателен большой красный палец с мутным ногтем. По лицу трюкача тараканом ползет хитроватая улыбочка. Фон сладостно голубого неба усиливает каким-то странным образом впечатление чего-то гадкого и нечистого.

Вдруг раздается окрик: «Се человек!» Вдруг всплывает картина, которую он видел в музее в Берлине во время командировки в ГДР, где с таким же названием был изображен заключенный нацистского концлагеря в полулежачем состоянии, с фронтальным видом со стороны колен (ужасное впечатление!).

Так вот, во сне раздается окрик: «Се человек!», и Александру Васильевичу слышится, что это его собственный голос. Он зверски ревет: «Проходи!» Далее Саженок бредет во сне на звук из отступающего полумрака, а вокруг все становится лиловым. Вот и стол со множеством бормочущих друг с другом телефонов. За столом чернокостюмная фигура напоминает вопросительный знак. Время от времени происходят резкие изгибы, и фигура принимает форму других грамматических знаков. Иногда это начальственное лицо оживает, хватается бумагу и швыряет ее в стол, в котором

включается бумагорезательная машина. Но вместо жужжания слышится отпевание, и с тяжким вздохом звучит: «Отмучился!»

Подавая бумаги, Александр Васильевич пытается поймать взгляд начальника, но лицо его каким-то таинственным образом скрыто. Начальство обнюхивает бумагу.

— На подпись? — Давит Саженкова его же собственный голос. Не дожидаясь ответа, Сашин начальственный голос нагло вопрошает:

— Почему так много букв в словах, я вас спрашиваю?

Саша что-то пытается объяснить, но его лепет прерывается железным лязгом. Стук челюстей — и разом вылетают все его зубы. Саша шамкает, но начальственное лицо, не обращая на него ни малейшего внимания, швыряет бумагу в стол. В этот момент Саженкову удается случайно разглядеть лицо начальника. Оно поражает... Это же его собственное лицо! Но с какими-то непотребными, оскопленными глазами. Мелькают белые, ухоженные руки с красными пальцами и мутными (опять!) ногтями. Тяжкий вздох сотрясает тело Саши. В этот момент загораются огромные буквы, как у зубного кабинета: «Словоиспускание запрещено!» Саша машет руками, кричит, но крик остается в нем самом. Раздается церковное пение, и в голове Саши колокольным звоном гудит: «Отмучился!» Тело Саженкова сдавливается, перед глазами плывут акробат, кукиш, бумаги, подобные живым существам, глаза начальства, причем сами по себе, без лица. Все это вертится, проделывая немислимые трюки, и тонет в глубине сладостного неба. Резательная машина начинает переламывать Сашу. Крик не может вырваться — все бюрократически чинно, — но ему тесно в Сашином теле, и он раздирает его изнутри. Чья-то гаденькая улыбочка липнет к глазам. Наконец из него вылетает что-то мычащее, вроде «Прости!», и это слово превращается в бумагу. Она заворачивается вокруг измолотого Сашиного тела, как бы спеленывая его в саван.

От собственного вопля Александр Васильевич приземлился в явь. Сон отлипал не сразу, оставляя разваленным сознание и мокрыми глаза и тело.

Как неприятно и мрачно! Зубы выпали во сне. К чему бы это? И он был прав: совсем неоптимистический сон явился Александру Васильевичу, особенно в летальной части, касающейся выпадания зубов. У Саженкова сразу возникло желание куда-нибудь убежать — пустая квартира гнала его. Но благо было куда спешить.

Целеустремленный галоп с легкостью включил в себя Саженкова. Белое небо, привычное для Москвы, равнодушно слушало шум города. Пасть метро пожирала толпы людей. Замирающие поезда вбирали людей в свои утробы и, стряхнув с себя оцепенение, уносились с диким волчьим воем в неизвестность, напоминая о том, что человек человеку — друг, товарищ и волк. Час пик, подобно нашествию захватчиков, взрывал Москву. Город исправно платил дань, отдаваясь насилию орды.

Внезапно Саженкова задержал голос: «Гражданин, что вы мне показываете?»

Каждый день он проходил через пропускные пункты, где что-то все время проверяют и что-то все время нужно показывать. Сейчас вместо единого билета он предъявил себя, то есть свой пропуск на работу. Недоразумение улеглось, и вот он — в чистилище. Очищаясь руганью, души громоздились в железном потоке, который, казалось, нес новую жизнь и новый строй мыслей, не затрагивая каждого в отдельности, но заражая всех вместе своей монолитной силой. Эта сила вытолкнула Саженкова, и он оказался на «Смоленской». Озабоченная суета пассажиров — детская игра для станции, застывшей в камне. Весь этот гвалт придавал обстановке свой неповторимый уют. Ковш подземелья накрыл суету, как бы взяв на себя грехи всех бегущих. Наконец Саженкову удалось выбраться. И он оказался у дома своей судьбы. Вскоре он был у своего стола, где начался привычный ритуал перевоплощения в чиновника.

Его вызвал Шуко и поручил проанализировать доклад международной ассоциации по социальным вопросам. Владимир Сергеевич порекомендовал отследить нападки на Советский Союз и подготовить ответное критическое выступление.

— Это тебе задание для реабилитации. Подготовь получше, так сказать, выступление. Его будет зачитывать сам Григорий Палыч. Он едет на конференцию в Женеву, так сказать. Так что сам понимаешь, что это на тебя накладывает. Кстати, чай у вас там заваривают в кабинете, а? Не в службу, а в дружбу, принес бы мне заодно, а?

Александр Васильевичу захотелось дунуть на Шуко, но так, чтобы пронесся ураган, цунами, торнадо и исчезли Шуко, Григорий Палычи, Адели и прочие подобные жильцы этого света, улетев куда-нибудь далеко-далеко.

— По-моему, уже не только заварили, но и все испили до дна, — вымолвил Саженок со дна своей печали. Чуткий на печали Шуко что-то уловил и попросил все же посмотреть. Не отказавшись и оттого еще печальней, Саженок пошел проверить чай. Злясь на себя, он сообщил Шуко, что все допито, и принялся за дело.

Александр Васильевич надолго замкнул глаза — ну не хотелось читать доклад, хоть ты тресни. Но пересилив себя, он раскрыл красиво оформленную обложку, и незаметно чтение увлекло его. В докладе было немало интересного материала о способах решения социально-трудовых конфликтов. Но самое ужасное, — прочитав доклад до конца, Саженок не обнаружил в нем ничего крамольного и даже неточного. Наоборот, здесь была очень любопытная информация о том, как и при каких обстоятельствах разрешено начинать забастовки, а когда запрещено. Раскрывался механизм урегулирования взаимоотношений между работодателями и трудящимися. Единственное за что можно было зацепиться, так это несколько намеков на наши ссылки по поводу отсутствия основы как таковой для конфликтов в СССР. Главная антисоветчина могла бы состоять в том, что в докладе вовсе не был представлен необычайно положительный опыт трудовых отношений в стране победившего социализма, где отсутствовала напрочь какая-либо основа для эксплуатации человека человеком.

Поскольку доклад был подготовлен на английском языке, Саженкову пришлось также сделать довольно объемную аннотацию для начальства. Далее он подготовил проект выступления и передал все Шуко. Как это ни странно, Владимир Сергеевич высоко оценил работу Саженкова, только попросил подпустить побольше критики, особенно там, где буржуазным апологетам вздумалось делать какие-то намеки на Советский Союз. Александр Васильевич стал было спорить, доказывая, что незачем задираться, а то начнут еще больше нас клевать. Но видя тщетность усилий, махнул рукой и накатал новое выступление. В него он вложил всю неудовлетворенность своим положением. Удовлетворенный Шуко преподнес Григорию Павловичу материал и, надо воздать ему должное, на этот раз из чувства человеколюбия и опаски не стал скрывать авторства Саженкова. Это обстоятельство сразу же огорчило Коновалова.

— Для меня этой фамилии отныне не существует. Зачем вы мне напоминаете о лицах, которые порочат наш отдел? Вы меня начинаете огорчать! — В голосе Григория Палыча послышалась скрытая угроза.

Шуко мгновенно исправился.

— Григорий Павлович! Это же не значит, что он — единственный автор. У нас — коллективное творчество. Первое приближение к проблеме было со стороны Саженкова, а потом мы много и упорно работали над материалом. Это я поскромничал.

— Что вы мне все про Саженкова? С ним пусть разбирается партком. Подумайте лучше о наших билетах и визах в Швейцарию, — голос Коновалова помягчел. — А то до конференции остается совсем мало времени.

После этого разговора взбудораженный Коноваловым Владимир Сергеевич сообщил Саженкову, что дело его — швах.

— Старик! Он тебя вообще не воспринимает. Знаешь, дуй за билетами и займись визами вместе с консульским отделом. Это — тяжелое дело, я понимаю, но это задание может как-то выправить твоё положение, а я сообщу о твоём рвении.

Саженокв знал, что последние слова Щуко — полная ерунда. Кроме того, поручение мог выполнить кто-нибудь и помоложе. Но то, что могло бы оскорбить его в прежние времена, сейчас не вызвало в нём даже протеста — настолько ему теперь было всё безразлично.

При этом разговоре случайно присутствовал Геннадий Старшинов. Этот молодой человек очень хотел подавать надежды. Услышав о билетах и визах, его складная фигура шевельнулась, а симпатичное лицо так дернулось, что его голубые глаза посерели и в красивой причёске нарушился строй светлых волос, а в голове заколебался строй светлых мыслей. Он тут же отправился к Аделаиде с коробкой конфет.

— Адель! Это вам от неизвестного почитателя.

— Что же он не признаётся в своих тайных чувствах? — с удовольствием выпустила она из себя истомившийся гнев.

— Стесняется, очень робок. Ну, совсем не по-современному ухаживает. Кстати, Адель, есть вопрос. Подскажи, может ли Саженокв ехать с Григорием Павловичем в командировку сейчас, при его положении?

— Откуда мне знать? Эти вопросы решает начальство.

— Но ты можешь дать добрый совет. Могу ли я претендовать на поездку?

— Советы дают добрым друзьям, которые должны помнить добро.

— В этом ты можешь не сомневаться. Ты же знаешь, как я всегда относился к тебе.

— Ладно. Об этом можно подумать.

— Адель! Я тоже твой тайный поклонник.

Глаза Аделаиды зацвели при этих словах неожиданным цветом.

— Робкий? Что-то не похоже. Отнеси эту бумагу в секретариат заместителя министра. Это другое здание. Я всё поняла. Привет.

По возвращении из секретариата Старшинова вызвал Щуко. Владимир Сергеевич некоторое время разглядывал Геннадия и его модный костюм, силясь проникнуть в строй его мыслей. Наконец он изрек:

— Шустрим понемногу? Не обижайся. Это я не в укор тебе. Если хочешь, чтобы тебя заметили, надо суетиться. Это понятно. Но суетиться надо с умом. Только не думай, что всё решает Адель. Григорий Павлович спросил мое мнение, и я не возражал. Так что имей это в виду. Принимайся за подготовку к конференции. Это сложное мероприятие, а твой успех зависит от того, как ты себя проявишь. Всё ясно?

Старшинов охотно закивал головой.

— Ну тогда проштудируй то, что подготовил Саженокв. Он человек знающий и писучий, хотя и непутевый. Помоги ему с билетами и визами. Здесь много ума не требуется, только напористость и контактность, поскольку есть свои процедуры и свои тонкости в обхождении с людьми, хотя дело может показаться поначалу чисто техническим. Имей в виду, на этом люди тоже спотыкаются. В разговоре с Саженковым сошлись на мое указание. Если всё понял, то дерзай! У нас творческая работа!

Вначале Александр Васильевич удивился помощи Генны, но узнав о его соучастии в поездке, с удовольствием сбавил ему хлопотные билетно-визовые дела, а сам углубился в доклад.

На уголке, приколотом к его первому проекту выступления, было начертано рукой самого Коновалова:

1. Это не выступление и даже не конспект.
2. Нужна более активная наша позиция.

3. Представить наше законодательство в сравнении с зарубежным.

4. Выводы и предложения.

В конце было приписано: «Вы меня опять удивляете!»

Обычно на уголках с поручениями начальство выводило фамилию адресата. В данном случае Григорию Павловичу было, видимо, неприятно выписывать фамилию Саженкова, и указание Коновалова страшило своей безымянностью. Но не Александра Васильевича, который не придал значения этому обстоятельству, порешив, что начальство второпях просто забыло о таком формальном пустяке. И опять он был не прав. Нельзя оставаться равнодушным к мелким, но таким значимым знакам внимания или невнимания, исходящим от руководства особенно высокого.

Саженкову пришлось немало потрудиться в борьбе с докладом. Поиски нашего и чуждого нам их законодательства не прошли даром. Сидение вечерами увенчалось успехом. Одно только выступление (переделанное в который раз!) чего стоило! Оно вышло действительно задиристым, и оппонентов ждала жалкая участь. Сарказм и убийственная ирония, цитаты их намеков перемежались с нашими уже не намеками, а разоблачениями попрания свободы и подавления прав трудящихся, участь которых была ужасной в условиях нещадной эксплуатации человека человеком в мире труда и капитала. Правда, когда он завершил свой труд, какая-то пустая идея ковырнула Саженкова. Даже не идея, а так — мыслишка: что сделал он в защиту наших трудящихся? Но эта мысль сама быстро отогналась куда-то вдаль из натруженного сознания. В конце концов, он ведь не сделал ничего оскорбляющего достоинство советских трудящихся.

Прочитав выступление, Щуко не счел нужным скрывать своего удовольствия и даже подбодрил Александра Васильевича, сообщив ему свежую новость о том, что все трудности со временем проходят.

Владимир Сергеевич был у Коновалова через минуту после расставания с Саженковым. На этот раз он не стал дразнить Григория Павловича и взял всю ответственность на себя, демонстрируя при этом гражданское мужество. Но удивительное дело: начальству тоже все понравилось. Щуко порадовал шефа еще и тем, что билеты и визы были уже получены, и, таким образом, все было готово к отъезду. В разговоре Владимир Сергеевич пару раз упомянул фамилию Гены, так, между прочим, но Коновалов зацепился за молодого человека и порекомендовал Щуко приглядеться к молодому сотруднику, который способен себя неплохо проявить.

От начальства Щуко вышел вполне удовлетворенный тем, что разговор удался. Но с другой стороны, беседа насторожила его. Владимир Сергеевич вел свои изыскания настойчиво. Он должен был знать не только, откуда ветер дует, но также, с какой силой и как долго. В данном случае ветер дул из кооператива, к председателю которого совсем недавно поступило заявление от Адели о приеме в него на предмет получения дачного участка. Фамилия председателя, как это ни странно, была Старшинов, но это ничего не доказывало, поскольку Гена по отчеству был Ивановичем, а инициалы у Старшинова-председателя были П. А. Но Щуко чувствовал нутром, что он на верном пути. П. А. оказался дядей Геннадия. Результаты расследования сразу же успокоили Владимира Сергеевича. Его девиз «Информация решает все!» в очередной раз подтверждался самой жизнью.

Через два дня Коновалов, Щуко, Адель и Старшинов отбыли в Швейцарию. Адель выступала в качестве незаменимой для начальства машинистки. Правда, злые языки болтали, что она давно разучилась печатать, но на то они и злые языки. Те же языки муссировали причину отсутствия Церковного, который раньше всегда участвовал в поездках на мероприятия по линии данной ассоциации. Оппозиционеру не простили его вызывающего голосования на собрании — злословили эти подпольные голоса.

За две недели отсутствия высокой делегации ничего примечательного не произошло. Работа неожиданным образом исполнялась без недремлющего ока начальства. Как бы сама собою, хотя все-таки подчас не хватало нервных вскриков, привычных для подчиненных. Единственным достойным упоминания событием было указание Саженкову явиться на партком через пару недель, то есть после возвращения делегации. Этот срок пролетел быстро. Появление варягов ознаменовалось совещанием, специально созванным по этому случаю.

Слово взял Щуко как основной докладчик. Первым делом он отметил положительную работу, проделанную отделом в целом. Затем похвал была удостоена Аделаида, хотя ее вклад не был столь заметен неискушенным. В момент своего восхваления Адель прервала свои наставления шепотом девушкам из машбюро о том, какие магазины следует посещать в альпийской стране. При этом ее фигура приняла скромную позицию, и на лицо напозгла тень виноватой застенчивости. После торжественного введения Владимир Сергеевич пространно изложил теорию трудностей работы делегации.

— Товарищи! Мы еще недостаточно готовимся к международным совещаниям. Приходится на ходу переделывать то, что было подготовлено в Москве. Это непорядок! Вы знаете, нам приходилось работать даже по ночам. — Эти слова вызвали живость у сослуживцев, и у некоторых даже заблестели глаза от неподдельного интереса.

— Хочу вам сказать без какого-либо подхалимажа, что Григорий Павлович так много работал, что я просто диву давался. Откуда в нем так много неутомимой энергии? Вот с кого нам всем надо брать пример! Все вечера мы сидели над документами и материалами.

При этих словах Щуко вспомнилось, как нередко хотелось выйти на улицу из советской миссии и пойти побродить по Женеве, зайти в бистро выпить пару кружек пива. Но патрон все время держал его при себе, не отпуская ни на минуту. Вот когда он пожалел, что не было ни Церковного, ни Саженкова, на которых можно было бы перепихнуть начальство.

Следует открыть маленький секрет Коновалова, который Щуко как любитель-психолог быстро разгадал. Григорий Павлович панически боялся попасть в смешное положение и, естественно, попадал в него постоянно именно из-за своей боязни. Утром, когда он спускался на первый этаж отеля, он не знал, как непринужденно войти в кафетерий, что заказать, хотя для этого вовсе не требовалось знания языка. Слово «кофе», который он так любил в этой стране, звучало почти по-русски, а официантки были весьма любезны, к чему было трудно привыкнуть. На заседаниях конференции Коновалов не мог произнести речь. Он зачитывал бумаги, подготовленные в отделе. При этом он начинал краснеть и бубнить так быстро, что переводчики-синхронисты тоже начинали тараторить, и оставалось неясным, удавалось ли донести до понимания делегатов всю жизнерадостность советской жизни и суровую правду об их жизни вперемишку с обличениями зверств капиталистического строя. Казалось бы, что страшного? Григорий Павлович с такой легкостью выступал у себя дома. Но за границей все представлялось ему совершенно иным и каким-то чуждым. Может быть, это шло от незнания языка, а может, от непонятности чужой жизни, которая так пестро мелькала перед глазами? В его глазах эта жизнь была непочтительной, нахальной и от того еще крамольней. Верные подчиненные заслоняли его от насмешливой иностранщины, а самой достойной заслонкой он почитал Щуко, который в это время бодро приближался к итогам.

— Не могу сказать, что результаты материалов очень обнадеживающие. Но полагаю, что нам надо равняться и, не стесняясь, учиться у Григория Павловича. Перенимать, так сказать, опыт, — заключил он наконец.

Затем слово взял Григорий Павлович. Он отметил неплохую подготовку отдела, упомянув Старшинова. В этой связи он долго испытывал терпение народа, долго вспоминая вместе со Шуко и Аделью время отъезда и приезда машин и самолетов.

В заключение отец отдела подчеркнул:

— Больше нужно домашних заготовок, реплик и контрреплик, выступлений и контрвыступлений, чтобы в последний момент не суетиться. К чему дергаться и заниматься сочинительством на месте? Нужны хорошие, обстоятельные и обличительные досье. Допустим, нам что-то заявили, а у нас уже готовый ответ, который легко можно приспособить к сложившейся ситуации.

Кто-то шепнул невежливо:

— Зачем тогда ездить в командировки? Посылай по почте свои выступления и контрреплики заранее, а миссия их озвучит.

А Коновалов продолжал свое:

— Надо лучше выполнять домашнее задание. Конечно, на все случаи жизни не подстрахуешься. Кто знает, что взбредет в голову нашим классовым врагам? Но предвидеть ситуацию мы обязаны, и поэтому следует лучше готовиться к конференциям. Вот что высветила прошедшая сессия.

Эти речи вызвали чрезвычайное движение умов. В коридорах начались неорганизованные, стихийные заседания курильщиков и даже некурящих, примкнувших к думной мысли. Всех волновал вопрос, кому была адресована критика Григория Павловича. Вывод коллектива был единодушен. Раз основу материалов готовил Саженков, который не сумел воспользоваться удачной ситуацией и реабилитировать себя, значит, мишень — это он. Некоторые дальновидные высказывали мнение о том, что ему придется все-таки уйти. Выговором на парткоме не отделаться. Видимо, выгонят из партии, а затем с работы. А раз из партии, значит, дело пропущено: будут трудности с новым трудоустройством. Кому нужны специалисты с волчьим билетом, то есть лица, лишённые права работать с иностранцами и не умеющие делать ничего другого?

Один Александр Васильевич был в неведении об этих диспутах. При нем, естественно, разговоров этих не вели, а он сам мало что замечал. Да и что мог он заметить, превратившись сам в частицу неведомо чего? Спроси Саженкова в этот момент, был ли он частицей бытия? На этот вопрос он и не стал бы искать ответа. То, что происходило вовне Александра Васильевича, уже никак его не затрагивало. В нем самом теперь уже ничего не происходило. Время просто перепрыгнуло через него. А что можно было сказать о той мельчайшей единице всего мироздания, которую он представлял? Ну совершенно ничего! Хотя, может быть, и нужно было найти какое-то заветное слово, которое и кошке, то есть Саженкову, было бы приятно. Но кто станет искать? Да и дало ли бы такое слово просветление — это еще вопрос большой величины. Так что ходатайства излишни. Кто соблаговолит?

Но ничто не стоит на месте. Жизнь отдела вслед за жизнью своего ведомства бежала своим нужным бегом, разделяя судьбу страны и народа. А с ней бежали бумаги и чиновники, совещания и согласования, начальство и подчиненные. Все было закономерным, как смена дня, глядевшего в затылок ночи. Этот бег добежал до очередного собрания. Опять приключилось обсуждение. На этот раз молодых, но с участием всех возрастов и рангов. Молодежь призывали, учили, и она смущенно училась. Крикунов, то есть тех, кто пытался оспаривать критику в свой адрес, неверно понимаемую, учили еще больше, и молодые начинали понимать, как надо идти в ногу со временем и коллективом. Но в целом большинство молодых предпочитало отмалчиваться, что не нравилось Кантемирову. Был проверяющий из парткома (аж всего министерства!), и отсутствие активности ложилось пятном на святую душу партвожака. Кантемиров

взял слово, в котором уместилось «неплохое в целом впечатление о молодежи», которая все же была «не без недостатков». Особо им был отмечен Старшинов в части, касающейся «молодежи без недостатков и на которую можно положиться, а также даже в чем-то равняться». В общем, на него возлагались большие надежды начальства и партийной организации.

И Геннадий оправдал их. Он лихо подхватил эстафету и вырвался на сцену. Ловко жонглируя цифрами (о, как их любил Григорий Павлович!), Старшинов рассказал о сложности обстановки на недавно прошедшей конференции. На конференции империалистические враги и их апологеты пытались сбить с толку международное общественное мнение, запутать, а может, даже запугать нашу делегацию. На ней, то есть конференции, много работали Григорий Павлович, Владимир Сергеевич, Аделаида Николаевна, что сорвало происки социал-предателей, защитников капитализма. Гене как молодому специалисту оставалось только благодарить судьбу за то, что ему выпала такая честь начинать свой трудовой путь, работая на такой тяжелой конференции рядом с такими людьми, как говорится, бок о бок. При словах о боковой работе Шуко внимательно посмотрел на Адель, но лицо замужней матроны ничего не выражало, кроме целеустремленного внимания к собранию.

В выступлении Старшинова прозвучала также мысль о необходимости повышения ответственности за порученное дело, о важности самокритично осмысливать критику и не бояться наставничества старших коллег. Покритиковав себя под одобрительные жесты начальства за чрезмерную поспешность в выполнении заданий, он перешел к критике своих молодых коллег, особенно тех, кто все еще опаздывает на работу. Прозвучало несколько фамилий, и кто-то тревожно заерзал на стульях. А когда Геннадий предложил этим товарищам выступить с самоотчетами на ближайшем комсомольском собрании, то по молодым рядам злым шепотом поползло: «А сам-то давно перестал опаздывать?», но змеино-ползучий шепот звучать не может.

Затем было несколько еще разных выступлений в поддержку высказанных здоровых идей, согласно которым критика сверху должна завершаться самокритикой снизу. Потом слово взял опять Григорий Павлович. Он горестно посетовал на то, что молодежь у нас не активна, «за очень и очень редким исключением».

— Молодежь, которую надо тормозить, не похожа на молодежь, так как удел молодых — гореть и рваться в бой. Где наше будущее? Я не ощущаю его! Больше активности, больше старания, больше инициативы — и тогда все у вас будет. Вспомните, Гайдар командовал полком в шестнадцать лет.

Эта свежая идея просверлила молодых, и каждый задумался, почему он не командует полком, хотя уже давно перешагнул свои шестнадцать лет.

В завершение Коновалов предложил чаще заслушивать молодых с индивидуальными отчетами, чтобы повнимательнее приглядеться к молодежи и знать, чем она живет и дышит. При этих словах голова аккуратного проверяющего из парткома министерства довольно закивала. Владелец этой головы попросил слово, и ему очень охотно его дали, хотя собрание уже три часа топтало вечно современную тему молодежи. Постоянно чему-то улыбаясь, он поведал, что индивидуальная работа и самоотчеты — все это в духе времени.

— Мы поддерживаем ваше начинание. Если кто не справляется, то мы можем помочь применить соответствующие меры. А то я смотрю, у вас только начальство работает и очень ограниченный контингент людей. Григорий Павлович самоотверженно трудится, еще кто-то. А где остальные? Так не годится! Надо повысить эффективность работы и труда. Всех вовлечь и охватить! Это наша общая задача: и руководства, и партийной организации, — поразил он всех.

Собрание почти завершилось, когда неожиданно поднялся Андрей Петрович Кузнецов и попросил включить свой вопрос в повестку дня следующего собрания. Кантемиров сразу погрузился и стал объяснять учительским голосом, что собрание окончилось и что не стоит привносить другие, не относящиеся к делу вопросы. Но Кузнецов решительно прервал его:

— Я уже обращался в бюро партийной организации нашего отдела и просил включить мой вопрос в повестку дня собрания, но этого почему-то не делают. Я скажу так: не делают сознательно, что, по моему мнению, глубоко неверно и недемократично.

От хулиганского выступления Кузнецова воцарилась пауза всеобщего недоумения. Но тут Кантемиров сделал красивый ход. Прекрасно зная, что народ готов разбежаться побыстрее — ведь было уже начало десятого, — он предложил:

— Товарищи! В мой адрес поступила критика, что я зажимаю кого-то как секретаря парторганизации отдела. Давайте задержимся еще на немного времени и послушаем коммуниста Кузнецова прямо сейчас. Если нет возражений, — он посмотрел на проверяющего и, не встретив оппозиции в его глазах, предложил: — Вам слово, товарищ Кузнецов.

Гул нетерпения проскользнул по собранию.

Конечно, секретарю партбюро не хотелось проводить такого неподготовленного собрания в присутствии представителя парткома министерства, да еще по такому вопросу. Но в его понимании было бы намного хуже, если бы проверяющий ушел с мнением, что от парткома что-то скрывают. Кантемиров решил рискнуть провести собрание по кузнецовскому вопросу сразу же. Ему казалось, что кавалерийский наскок поможет решить все разом, тем более что коллектив норовит расползтись побыстрее.

Андрей Петрович вышел вперед и обратился к нетерпеливо ожидавшему собранию:

— Товарищи! У меня семья, двое детей и младший еще в школе — учится в девятом классе. А я узнал, что меня уже сейчас готовятся отправить на пенсию, хотя мне пятьдесят девять лет, то есть остается один год до шестидесяти. Как мне на пенсию содержать семью? Я обращаюсь к вам за поддержкой. Мне нужно проработать, по крайней мере, еще два года, чтобы младший сын смог окончить школу.

Извинившись, его перебил Григорий Павлович с места (начальству необязательно выходить на трибуну — его и так все должны видеть и слышать!).

— Я хочу внести ясность. Это непростой вопрос. Здесь необходима проработка и нужно время. Во-первых, явная дезинформация. Никто вас, Андрей Петрович, не гонит. Вы работаете, вы — с нами, в нашем отделе. Не буду скрывать, в перспективе мы думаем о замене, но это ничего не значит. Молодых надо двигать. Это верная постановка вопроса, но не ценой чужой жизни. Вашу судьбу никто не собирается ломать. Закономерный процесс смены поколений не означает бесчувственного отношения к ветеранам. Но с другой стороны, тот, кому положено на заслуженный отдых, не может задерживать движение жизни. Давайте разберемся с этим вопросом спокойно, без эмоций. Я не думаю, что следует раньше времени выносить его на рассмотрение собрания, тем более что в первую очередь это все-таки вопрос административный.

После этого разъяснения Кузнецов продолжил оглохшим голосом:

— Я не согласен с тем, что меня не гонят. Гонят, и еще как! В кадрах мне сказали, что в первом квартале следующего года мне надо выходить на пенсию, то есть минимум за пять месяцев до моего шестидесятилетия, хотя в прошлом году у нас два человека доработали до шестидесяти пяти лет. Кстати, шестьдесят лет — это не обязанность, а право на выход на пенсию согласно трудовому законодательству. А почему меня гонят? Я могу сказать и именно здесь, на нашем партсобрании в присутствии представителя парткома министерства, чтобы все знали. Со мной сводят счеты за то, что я всту-

пился за Саженкова, за мои прошлые выступления по совести. За то, что я выступал открыто против избрания Кантемирова секретарем нашей парторганизации. Я считал и продолжаю считать, что он формалист и не может быть на выборном посту, где необходимо умение работать с людьми, где нужна человечность, в конце концов, а не администрирование.

В этот момент вмешался постовой человечности Кантемиров:

— Андрей Петрович! Я думаю, вы взволнованны и неверно понимаете ситуацию. Вам сказано уже руководство: вас никто не гонит. Я к вам претензий не имею. Ваше выступление при моем избрании вообще не имеет никакого отношения к данному делу. Вы тогда высказали свое личное мнение, на которое каждый должен иметь право. Меньше нервов — больше внимательного отношения к людям. Давайте спокойно рассмотрим вопрос, и все разъяснится. Проблем ведь нет, а ваш вопрос будет улажен. Григорий Павлович только что прояснил ситуацию. Он сам лично занимается этим вопросом. Зачем вообще приплетать сюда совершенно посторонние сюжеты?

Но Кузнецов свирепо рявкнул на него:

— Прежде всего я попрошу перестать меня перебивать! Я ничего не приплетаю. Какие сюжеты? — Голос его начал заметно сбиваться на фальцет. — Я столько лет работаю в министерстве, редко беру бюллетени по болезни. И что, теперь меня на свалку? Я что, не заслужил еще два года работы? В отделе уже были прецеденты работы до шестидесяти пяти лет. Все, что я отдал в течение долгой трудовой жизни, не стоит моей просьбы дать мне возможность доработать еще два года, чтобы сын подрос и окончил школу. Я этого не понимаю и не принимаю. Если бы не семья, я не стал бы держаться за работу. Кому нужна работа, где нет незаменимых людей? Но я вынужден просить парторганизацию поддержать меня и мою семью!

Следующим взял слово Церковный:

— Андрей Петрович! Скажите, чего вы хотите? Какого решения вы ждете от нас? Я понимаю, что вам трудно сейчас, вы взволнованны. Но все же соберитесь с мыслями и попробуйте четко сформулировать вашу просьбу. Предложите собранию формулировку, за которую оно должно проголосовать.

— Я уже сформулировал, — бросил с места Кузнецов. — Мне нужна поддержка коллектива, парторганизации, чтобы я смог дальше отстаивать свою позицию, поскольку я не могу более рассчитывать на поддержку администрации. Меня оставили один на один с отделом кадров. Не исключено, что кадрам могли намекнуть, мол, пора со мной расставаться.

Отдел замер, не привыкший к таким пассажирам. Несформулированная тишина вошла в каждого.

Неожиданно выступил Саженков:

— Товарищи! Я вижу ваше замешательство. Сотрудник, наш коллега просит помощи у коллектива, в котором он работает столько лет. Должен заметить, у него есть на то все основания. В конце концов, Кузнецов Андрей Петрович — единственный фронтовик в нашем отделе, инвалид войны к тому же. Кстати, на войне погибли его отец и единственный брат. С другой стороны, администрация утверждает, что вопрос непростой и необходима дополнительная проработка этого дела. Судя по всему, отдел не готов решить вопрос немедленно, как того просит Кузнецов. Давайте отразим в протоколе нашего собрания, что этот вопрос обсуждался и коллектив в любом случае выражает поддержку нашему сотруднику, то есть наша организация поддерживает ходатайство Кузнецова.

И опять повисла тягостная пауза, но, как всегда, инициативу взял в свои мощные руки Кантемиров.

— Ну что ж, все ясно. На этом и закончим!

Собрание объявили закрытым, и все разбрелись, хотя оставалось неясным, что именно решило собрание и что запишут в протокол. Может, были кое-какие шушуканья, но скорее полулегальные, а их к протоколу не подошьешь. Как дело решалось администрацией и в парткоме — сие неведомо. А через пару дней после того собрания Александру Васильевичу встретился в коридоре Кузнецов. Саженкову никак не удавалось поймать взгляд идущего навстречу Андрея Петровича. Глаза Кузнецова бежали в неизвестную даль. Тогда, загородив проход, Саженков прямо спросил:

— Андрей Петрович! Вы меня избегаете? Я разве вас чем-то обидел?

— Что говорить? После драки кулаками не машут. Знаешь такую поговорку? Я просил поддержки и не получил ее, вот и весь сказ! Хороши, нечего сказать! Тридцать лет работаешь. Думаешь, что знаешь людей, с которыми трудишься, а оказывается, ни черта не знаешь. Каждый за себя, и это правильно. Так надежней и спокойней. Каждый считает, что сам выпутается из своих проблем, и это будет тем легче, чем меньше у человека будет конфликтов. Никто себе даже представить не может, во что он может вляпаться. Что ему тоже может понадобиться помощь и придется обратиться за ней к людям. Да, стадо на то оно и есть стадо, чтобы от него не отбивались овцы.

— А разве поддержки не было вовсе? Что записали в протоколе собрания?

— В протоколе иуда Кантемиров так все красиво отразил, будто бы и нет никаких проблем. Мол, вопрос о моем уходе на пенсию решается администрацией, и собрание приняло к сведению мою информацию. Вот какую помощь я получил от всех вас. Спасибо вам большое. Чутко забили гвоздь в крышку моего гроба.

— Подождите, Андрей Петрович. Я ведь пытался смягчить положение и предложил собранию записать в протоколе, что мы вас поддерживаем. Церковный выступал за вас. Это же фальсификация протокола. В тех условиях собрание не могло поддержать вас безоговорочно, учитывая выступление Коновалова. Впрямую против начальства народ не пойдет. А в ином виде, как компромисс, был шанс. Но вы помните, я выступал за вас. Надо бороться за исправление протокола, еще не все потеряно.

— Какой там компромисс, протокол. Все это ерунда! Тебе не надо было выступать. Твое выступление только все испортило. Ты лил воду на мельницу кровососа. Эх, коллеги. Да и что бы ты смог? Сам в замаске. Смотри, тебе не простят и этого выступления. Партком министерства был?

— А что, будет хуже? И так выгонят отовсюду. Скоро уже партком, скоро.

— Ну ладно, не журись, выкарабкивайся. Я дурак старый. Не надо было на коленках канючить. Ах, начхать на все. Пошли они все...

Кузнецов повернулся и пошел своей изношенной походкой. За ним потянулся унылый взгляд Саженкова, а вслед потянулись виноватые мысли.

— Вот и меня обвинили в предательстве. Мог бы выступить решительно в его поддержку. Кузнецов прав: я помнил, что у меня впереди партком, и побоялся. Думал, что не боюсь, а, по существу, боялся. Подсознание убоялось. Как в нас силен страх. Генетически, что ли? Поколения взращивают в нас этот страх. Даже когда мы думаем, что не боимся, на самом деле страх нас контролирует. И по капле не выдавишь его из себя. Вроде хотел помочь, а что вышло в глазах Андрея Петровича? Впрочем, почему только в его глазах? Хорош я! Надо бы объясниться.

Но объясниться не удалось. Кантемиров сообщил Саженкову, что пришло время идти на партком, и закрутилось хождение-ожидание. Прождав три часа у парткома, Саженков узнал, что из-за большой повестки дня заседание не успеет рассмотреть его вопрос. Страшный суд отложили на следующее заседание. А еще через пару дней стало известно, что Кузнецов умер, как говорили, от сердечного приступа.

Печальная новость быстро проскользнула по языкам. Подошли похороны, и отшельцы дружной ватагой отправились провожать Андрея Петровича в последний путь.

В открытом гробу лежал покойник, поражая своей неподвижностью — состояние, на которое почти ничто живое не способно. Любопытство остывало на лицах собравшихся, особенно когда таинственный «Реквием» Моцарта взял души стоящих-глядящих и властно потянул их далеко-далеко. Всего лишь наборы звуков сумели поразительно быстро придать лицам нужное настроение. Родственники жали в кулаках платки, затирая носы и глаза.

Сын Андрея Петровича, поразительно на него похожий, довольно долго крепился, но тоска торжественной музыки подавила его. Как он ни стыдился в свои шестнадцать лет, слезы заслонили все, кроме тоски. Вдова и дочь были так утробованы лекарствами, что, похоже, не очень присутствовали в этом мире.

Вперед, к гробу вышел Кантемиров и начал, как школьник. Поглядывая в шпартгалку, он заговорил о безвременно постигшем горе хорошо посаженным голосом. Его замученные слова летели в толпу. В конце своей речуги он браво прокричал, что дело Андрея Петровича и память о нем навсегда останутся в наших сердцах. Но у него вместо «останутся» получилось «стянутся наши сердца», и оттого он неуверенно замолчал. В этом неуверенном молчании вдруг навис вопрос: какое такое дело имелось в виду? Насчет памяти тоже не все было ясно. С родственниками — тут все понятно, а вот в отношении других надо было бы разобраться. Например, Кантемиров навряд ли мог носить в сердце своем. У него в этом кармане помещалось только самое важное. Ну, а какой толк ему от Андрея Петровича, теперь уже мервого? Раньше можно было его опасаться, а теперь-то что?

Но пауза не висела долго. Кто-то стал вещать от профкома, месткома и других жизненно важных организаций. Ничто, казалось, уже не нарушает слаженного шествия выступлений, но вдруг вышел какой-то незаметный человек с несчастным лицом и начал не по протоколу:

— Вот мы здесь стоим, а Андрюши нет! Нет его, и все тут!

Его глаза наполнились, и он замолчал надолго. Всем стало ужасно неудобно и даже неприятно от этого некрасивого нескрываемого переживания. Наконец он справился с собой, но опять все испортил. Высоким голосом он продышал:

— Не вернуть, а жалко-то как! Жаль, говорю, Андрюшу. Настоящий друг, каких поискать! Э-эх!

Он махнул рукой, как будто это могло прояснить что-либо, и отошел в сторону. Пока кто-то следующий говорил о заслугах, войне и многом разном, волнами пробежал шепоток интересующихся сослуживцев: «Друг детства, друг с младых ногтей».

Собравшиеся заглядывали в гроб, словно чего-то искали там. Тяжесть придавила провожавших. Некоторые мысленно примеряли этот прощальный кафтан на себя и зябко ежились. На кладбище привычно холодно непривычным живым. Не хотелось замирать даже на это скорбное мгновение. Печальная пауза явно затягивалась — куда-то исчезли бандитского вида могильщики. «Видать, недодали», — гнусавые слова тянулись по рядам. Наконец кто-то не выдержал и пошел заманивать их звенящими словами.

Сын Андрея Петровича полубоялся чудное деревянное сооружение, как бы опасаясь потерять его. Он явно не хотел расставаться с гробом даже тогда, когда появились разбойники заупокоя. Он встал над могилой и внимательно смотрел в нее долгим сосредоточенным взглядом, как будто хотел остановить время глазами. Но вот первые комья вечной земли полетели через его взгляд, еще и еще. Могила сокрылась, уложили венки, воткнули фотографию. Было видно, как стынет холмик на весеннем ветру.

Под стылým ветром прыгали знакомые несуразные мысли: как он там, в этом пене? Еще недавно живой, а сейчас в земле. Но эти столько раз передуманные на земле мысли не согревали. Народ по сигналу дружно заторопился с кладбища к автобусу. Родственники, может, постояли бы, и даже очень похоже было, что не торопятся, но, видя поспешность других, засеменяли и сами. Наверное, это было лучше для них. Они начали зазывать в автобусе на поминки.

Свадьба может быть бедной. В некоторых небогатых свадьбах есть даже свой шик. Иные любят вспоминать в устроенной жизни, как не густо было на их свадьбе, и от этого она им кажется еще слаще. С поминками дело обстоит совершенно иначе. Бедные поминки вызывают отчуждение у провожавших. Им начинает казаться, что они зря принимали участие в процессии и их попросту надули. В них рождается протест в виде неугомонного стремления побыстрее уйти с поминок. Поминки Андрея Петровича были настоящие — в его доме. Родственники по-серьезному были заняты приготовлением. Им была противна сама мысль устроить поминки в ресторане, где сидят посторонние лица и играет музыка, напоминая, что жизнь продолжается и ничья смерть не в силах остановить ее даже тогда, когда душа летает над ними.

Весь приглашенный народ не мог уместиться за столом и посему разместился стоя-сидя, кто как мог по всем комнатам. Квартира казалась неживой — чернели зеркала и люстры. Но составленные столы очень веселили глаз. Тосты ладились не очень, явно проигрывая по сравнению с закуской и выпивкой. Бодрились водкой, чтобы избавиться от разных мыслей и приобрести подвижность слов. Вот Щуко стал вдруг обращаться к покойнику на «ты». Подняв рюмку, он торжественно, с некоторой печалью вещал:

— Ты, Андрей, будь уверен. Мы всегда будем помнить нашего ветерана, — а потом опять заверещал про дело: — Твое дело мы обещаем продолжать!

Что-то он еще говорил, но никто не запомнил. Затем Щуко объявил, что у него есть послание Григория Павловича, который вынужден был отсутствовать, поскольку его срочно вызвали к заместителю министра. Сразу все затаились. Послание зачитали. Оно было очень похожим на выступления и потому трудно запоминалось. Что-то такое скорбно-безвременное «не могу привыкнуть к страшной мысли» и т. д. и т. п.

Пили-ели хорошо, хотя, впрочем, со стороны подумать... Некоторые говорили, что диковатый, мол, обычай. Только что человек умер, похоронили, а народ лупит жратву и ханку почему зря. А может, что-то в этом и есть. Предки не дураки были, соображали, что надо делать в таких случаях. Скоро за столом потянулся шум, появились новые бутылки. Слегка отошедшая от похорон вдова дирижировала столом и какими-то женщинами, как бы уходя от себя в это действо. Дети сидели молча, почти не дотрагиваясь до еды и питья.

Друг с несчастным лицом случайно оказался рядом с Саженьковым. Он сидел совсем неподвижно, ничего не говорил, только макал нос в рюмку и шептал себе что-то. Саженьков заметил, как он неодобрительно пробурчал себе под нос «коллеги» с особенным выражением, когда шум усилился. Александру Васильевичу захотелось поговорить с ним. Он ужасно досадовал на себя, что так и не объяснился с умершим. Ему казалось, что если он поговорит с другом Кузнецова, то это сможет смягчить его горечь. Не найдя ничего лучшего, он неожиданно сказал:

— Вот говорят здесь о всяких заслугах, но все как-то не так. Все как будто не об Андрее Петровиче. Почему так? Вроде заслуги его, награды тоже его. Все честно, а тем не менее будто бы и не о нем.

— И заслуги, и награды — все это правильно, — протянул друг безутешно. Его глаза опять увлажнились. — Только говорить надо не так.

— А как?

— А как? — переспросил он. — От Бога, а не от начальника. Вот как! Посмотри. Люди стыд потеряли. Ходят на похороны и поминки для галочки, по разрядке. А так не надо. Лучше вообще не приходить, чем напиться и гоготать. Я тебе так скажу: Бога люди не боятся, вот что!

— А вы... вы — верующий? — решился спросить Саженок.

— Сразу верующий-неверующий. Разве в этом дело? Верить можно и в себя. Человеком надо быть, понятно? — раздраженно сказал безутешный друг.

Это подзадорило Александра Васильевича еще больше.

— Если вы так философски вопрос ставите, то я вам одну притчу расскажу. Не возражаете?

Безутешный незнакомец неопределенно кивнул.

— Жили люди, и было у них такое важное-преважное зеркало. Было оно, правда, кривоватое, но люди в него смотрели и видели себя в нем лучше, чем они были на самом деле. В общем, худо-бедно, но жили — не тужили. Вдруг появляется среди них такой пророк и начинает вещать.

— Люди! — возопил он. Вас обманывают. Зеркало это — кривое. Вы себя видите вовсе не такими, какими должны себя видеть.

— А какими мы должны себя видеть? — спрашивают его люди.

Он им отвечает:

— Вы должны себя видеть такими, какие вы есть на самом деле. Правда должна торжествовать, и жить надо по правде. Лживое зеркало никогда вас до истины не доведет!

Слушал-слушал его народ и начал сомневаться. Старики — те-то, понятное дело, стали против пророка выступать и призывать побить его либо изгнать навсегда. Но были и отчаянные головы. Воспользовавшись всеобщим замешательством и сомнениями, они подбили народ разбить зеркало. Под шум и заваруху его и расколотили. Старики еще больше того рассвирепели.

— Как без зеркала теперь будем жить? — вопрошали они. Народ совсем заволновался. Действительно, как теперь увидеть себя, если зеркала нет? А отчаянные подбивали в ответ утешают их: смотрите в воду. В ней и есть истинное отражение. Кое-кто сбегал к пророку выяснить, правда ли, что отражение воды истинное. Он и подтвердил. Тогда пошел народ к воде, и увидели люди свое отражение. Они и раньше видели его, но не считали истинным. Теперь же, взглядевшись, они ужаснулись. Познали, насколько они нехороши и как им далеко до красоты и совершенства. Что тут началось? Отныне никто не слушал пророка с его призывами стремиться к прекрасному и благородному. Народ забезобразничал. Что могло остановить его, когда собственное безобразие уже было более чем совершенным в своем ужасе. Совершенствовался только порок.

— Можешь не продолжать. Все и так ясно. Конец религии означает конец морали, — прервал Саженкова сосед.

— Вообще-то, я больше о другом. Я к тому, что вы говорили о вере в себя. Трудно поверить в человека. В сверхъестественное как-то намного легче, уж не знаю почему. Может, дело в том, что человек бывает очень разным. Но чаще попадаются, к сожалению, не святые, а хамы.

— Почему обязательно хамы? Почему легче поверить в сверхъестественное? Как будто человек не может без надсмотрщика. Что он, не знает, как быть свободным? Свобода — это выбор и ответственность за свой выбор. Конечно, нужны тормоза. Иначе без них уедешь неизвестно куда. Но он сам должен нажимать на тормоза, а не какой-то дядя.

— Как забавно насчет выбора и ответственности за свой выбор. Это как раз библейское. Но Бог с ним. Рамки у свободы должны быть, а кто их будет устанавливать — вот самый интересный вопрос. В особенности в отношении его внутренней свободы. Государство, общество? Очень сомнительно. Совесть? Вроде притягательно. Ей ведомо все. Нет выше судьи, чем совесть. Не кто-то другой, не какой-то человек, а именно совесть определяет пределы свободы. Как заманчиво и красиво звучит! Но если ее вдруг нет? Что тогда? Как-то не воспиталась, или не родилась вовсе с человеком, либо умерла совсем от какой-то хвори. Где тогда искать выход? Опять тупик? Получается, все-таки зеркало нужно, пусть и кривое.

Увлеченный своими рассуждениями, Александр Васильевич только сейчас заметил, что сосед не очень следит за разлетами его мысли, а все больше погружается в винную печаль по ушедшему.

Что я привязался к нему со своими философствованиями? Умер хороший, честный человек, перед которым я, кстати, виноват, а мы галдим о чем-то совсем постороннем. Для нас и покойник только повод поговорить, и нередко о себе. Какие мы все-таки себялюбцы.

Александр Васильевич задумался об Андрее Петровиче и с удивлением начал обнаруживать, что он совсем не знал его. С одной стороны, действительно, все, что говорили о Кузнецове, было как будто верным. Факты его биографии — война, ранение, затем работа, движение по службе, семья и многое другое — все это было его большой жизнью. А с другой стороны, как бы и не очень касалось самого Андрея Петровича, самой его личности. Все это могло бы быть сказано и о ком-то другом при внешнем совпадении биографии, особенно тех, кто родился в начале двадцатых годов двадцатого века. Жизненный путь напоминает след на снегу. След виден — все ясно, но кто его оставил, можно гадать и спорить. Спроси многих выступавших на панихиде и поминках: каким был на самом деле Андрей Петрович? Наверяд ли многое смогли бы они сообщить не по шпаргалке. Да, был неплохим человеком. Добрым, даже смелым, а что еще? Тишина. Все известные его поступки ничего не прибавляли к этой загадке. От этого Саженкову стало даже тоскливо.

А ведь были желания, отчаяние, страх быть убитым на войне, томления страсти. Что могли сказать аттестации по службе, выступления на собраниях, движение карьеры, любовные приключения? Впрочем, последние как раз, может, и могли что-то прояснить, но кто и что мог сказать об этой стороне его жизни? Поминавшие Андрея Петровича не знали этих тайн и не смогли бы постичь их, даже если бы возымели таковое желание. А кто и хотел что-то узнать, как бы ни заглядывал в гроб, какие бы слова ни произносил, как бы вверх ни вонзал очи, ничего не мог постичь. Унес покойник свою тайну с собою. Соскользнул в мир иной в ореоле своей неразгаданной внутренней жизни. Впрочем, разгадывать эти шарады никто особенно и не стремился. Может, и к лучшему?

Саженков поймал себя на том, что как бы произносил эти высокопарные речи. Но не мог остановиться и про себя продолжал монолог.

Почему мы относимся к мертвым как к живым, а к живым не можем относиться как к мертвым?

На этом вопросе Александр Васильевич споткнулся. Он вспомнил свои споры и обиды, которые нанес ушедшим из жизни родителям. Хотелось вернуть многие слова, нечаянно сорвавшиеся в запальчивости. К чему их было тогда произносить? Но тогда он относился к ним как к живым. Как строить отношения с людьми, если все время думать о том, что они завтра умрут? И нормальны ли такие отношения?

Эти размышления Александра Васильевича прервал Церковный, явно искавший компаньона на выход.

— Александр Васильевич, пора трогаться. Может, вместе пойдем?

Саженов охотно согласился. Он попрощался с безутешным другом. Хотел было спросить его имя, да одумался. Это показалось ему теперь уже ненужным. Они пропели заунывные прощания вдове и оставили дом, пораженный скорбью.

Время было уже вечернее. Стемнело, но сумасшедший воздух беззастенчиво напоминал о весне, некстати наполняя тело веселостью. Однако не всех веселила весна. На пути отдельцев торчал хвост очереди, упирившейся в железное окно избранного дома. Стояло людей много: народу разного по одежде и темпераменту. Но их всех объединяло одно — ожидание своей участи. Лица были похожи на будильники, которые все без исключения показывали «без четвертинки» семь. Некоторые поглядывали свысока: те, что отходили, бережно обнимая свое заветное. Их и остальных стоящих разделяли два противоположных чувства: предвкушение вечернего счастья или озабоченность «хватит — не хватит». А магазин торговал исправно. Пришельцам нравилось повторять: сюда не зарастет народная тропа! Эти тропы народ примечает легко, и быстро нарождаются такие вот хвосты.

Каждый понимал цену своему счастью и нес булькающую радость с особой осторожностью. Но случалось — правда, крайне редко, — что попадались нерасторопные. Тогда падение духа заполнялось звоном стекла, которое вместе с содержимым лилось в едином потоке с затертыми словами. Трагедия вызывала бурю сочувствия и негодования, которая пробегала волнами по очереди, пока не успокаивалась где-то в хвосте. Но напряжение от этого не спадало. Атмосфера, насыщенная алкогольными парами, клокотала и рвалась матерными перепевами. Сиротливый милиционер — одинокий остров, затерянный в океане нечеловеческих страстей, — лишь безлично наблюдал за этим порядком. А магазин продолжал жить своею привычной торговой жизнью. Все пьянящее сноровисто-уверенно стучало по стойке шагами бутылок. Твердо звенела денга в железной банке, и шелестели купюры из кармана в карман. Принималась и посуда, но ближе к закрытию магазина хозяйка винной горы скучным голосом начинала привычно ругаться, угрожая сию же минуту уйти за тарой. Эта угроза действовала внушительно. Ее утешали, и она сдавалась — женское сердце чутко к просьбам.

Потреблявший народ не боялся зеленого змия и свирепо ждал своего с воспаленными глазами на непроснувшихся (даже вечером!) лицах. Очередь изогнулась на единой судороге. Были и такие, что успели опьянеть. Вместе с ходоками в грязной ветоши, называемой спецодеждой, они молили прикупить хоть чего-нибудь. Друзья с охотой откликались, но незнакомцы встречали их лишь насмешками. Опытные пловцы свысока глядели на утонувших в самих себе.

А сверху из мягкого одеяла облаков на эту суету смотрел седой месяц. Под его серебристым взглядом вечно идут события и люди. И под набирашим силу лунным светом шагали двое принявших горе и радость жизни. И не в ногу шагали их разговор.

— Так вы полагаете, Александр Васильевич, что человечество мало чему научилось, подползая к двадцать первому веку? А как же все эти открытия, прогресс, наконец? Каким богатым стало наше знание прошлого и как оно переплелось с нервным предощущением будущего. Какие скорости сегодня. Каким маленьким из-за этого стал наш земной шар. Разве этого мало? Как стремительно бежит время.

— Мне не очень по душе выражение, вроде «время стремительно бежит или летит». Оно никуда не бежит, а совершает свое движение так, как ему и положено это делать: ни быстрее, ни медленнее, поскольку время не может быть ни летящим, ни ползучим. Может, его и вовсе не существует, а человечество изобрело систему отсчета для собственного удовольствия. И я не вижу никаких оснований смотреть на все свысока. Наши вершины придуманы нами самими. Что мы открыли? Игрушки цивилиза-

ции? И всего-то! Мы и близко не подошли к самой интересной загадке — человеку. Может быть, стали чуть ближе к нему и дышим ему в затылок своим тяжелым дыханием. Но он не спешит обернуться, и это обстоятельство очень смущает. А ведь это тайна, которая давно дразнит наш любопытный глаз. В чем-то, может, и удалось сократить эту бесконечность во времени и в пространстве. Но было бы лучше сокращать эту бесконечность внутри себя, а не вовне. Поверьте, это приблизило бы человечество к решению самого простого вопроса, над которым оно бьется со дня сотворения мира, а именно «Как жить?». Мне кажется, сегодня человеку еще труднее быть в ладу с самим собой. Подбираясь к третьему тысячелетию, мы не научились преодолевать рутину, обыденность жизни. Чем хвастать? Смотришь в священные писания, изложенные давным-давно, и поражаешься: как же мало изменился человек! Все те же пороки и те же достоинства! Какой же это прогресс?

— Да, действительно, с этим нельзя не согласиться. Но может, ошибка в том, что прогресс пытался изменить природу человека, а она-то как раз величина постоянная. Правда, может быть, именно в этом постоянстве и заключена сила человека.

— Да какая же это сила? Что за сила такая в способности привыкать? Если и есть сила в способности приспособливаться, то это же и самая большая слабость человека. Что за сила привыкать к повседневности, к ее жестокости, к скотству жизни? Из-за этой силы люди только теряют себя. Раз теряют себя, значит, теряют себя и для других. По ком звонит колокол? По душам привыкших жить, как все, и утеравших себя!

— Александр Васильевич! А вы никогда не задумывались о том, что отрицательного в человеке всегда больше и, вероятно, это неспроста? Может, человек должен преодолевать в себе худшее, чтобы становиться лучше?

— Это выдумка идеалистов. Это было бы верно, если бы человек рождался для того, чтобы развиваться. Вы видели очередь? Там было много типов развития, только вопрос: куда, в какую сторону? А вы, Алексей Михайлович, никогда не задавались вопросом, почему так убедительны на сцене негодяи и так нереальны положительные герои? Мы способны узнавать только зло, а добро нам видится каким-то неземным чудом. Отчего так? Может, в нас слишком хорошо укоренился мерзавец и мы просто не способны на добро?

— А мне иногда обидно бывает за отрицательные персонажи. Вы все абстрактно ставите вопрос. А взгляните на этих отрицательных героев в кино. Они так изобретательны. Расставляют силки, плетут интриги. Какая игра воображения и прямо-таки сумасшедшая ловкость! И вдруг положительный герой, у которого, кроме однобокой морали и скучной жертвенности, нет ничего, приходит и побеждает. Просто так. Ну пострадает какое-то время, нас заставит с ним помучиться (если актер хороший), но победа всегда за ним. А если не за ним, то успех наглого ловкача уже и не успех. Ну а моральная победа — тут уж и говорить нечего. Даже становится жалко этого негодяя. Получается, что страдание и жертвы обязательно вознаграждаются, правда, никогда не уточняется где. В общем, достоевщина все это. Впрочем, это не слишком веселая тема. В конце концов, я не склонен так уж пессимистично смотреть на нашу жизнь, хотя в ней много чудного и несуразного. Наверное, от нашей дремучести.

— Да не такие мы дремучие, как мы себя любим изображать. Да, мы слишком погрузились в материю...

— Александр Васильевич! А вы меня в идеалисты записали, а сами-то вы, случаем, не йог или верующий?

— Да пожалуй, что нет. Но возьмите для примера Запад. Он от своего пресыщения к тому же идет..

— Может быть, нам вначале тоже надо обожраться?

— Да дело не в этом, это другой разговор. Меня интересует общая линия. Не имеет значения, кто во что верит. Вы не замечали главного отличия истинно верующих от нас?

— Интересно, что же?

— У них удивительно спокойные лица. Меня всегда удивляло в них какое-то внутреннее умиротворение, особенно на фоне нашей дерготни. Вначале я думал, что у них нет этой безумной тяги к власти над себе подобными, которая так тяготит нас. Но приглядевшись, я понял, что это не всегда так. Но тем не менее их образ жизни и мыслей не перестает поражать меня своей слаженностью. Есть здесь какой-то секрет, который смягчает даже властность, если она присутствует. По крайней мере, существует какая-то общая закономерность, какое-то неведомое правило. Вообще, надо признать, что неумное стремление к власти сродни безумию. Есть определенная ограниченность рассудка в упоении властью. Говорят, надо давать власть пострадавшему, особенно от власти, тогда он будет обращаться с ней с осторожностью. Правда, мне с трудом в это верится. Прошлые невзгоды могут давить еще сильнее, хотя никто не может знать заранее, как на него будет действовать этот наркотик.

— По этой логике власти вообще не должно быть, но люди не умеют жить без нее. Общество должно как-то организовывать свою жизнь, а без государства, власти и ее носителей все это невозможно. Кому же ее давать? Неразумным, что ли? Может быть, как раз тем, кто к ней стремится? Любое дело делает лучше тот, кто стремится к нему, кто любит свое дело. Это давно известно.

— Пьяница тоже любит свое дело. Путаются во власти те, кого она пьянит. Это удел бессознательного удовольствия. Здесь цель — бег по кругу. Честолюбие не насыщаемо, так как оно сродни стремлению к бесконечности, и погибель лежит в самом этом стремлении. А чтобы прийти к высокому уровню, нужно вначале проехать катком по самому себе, по своему «я», а потом уже значительно легче и по людям.

— Безвластие есть хаос, а у власти, по-вашему, одни негодяи. К чему тогда идти?

— Ну почему только негодяи. Я не говорю, что все у власти стоящие — негодяи. Я хочу только отметить, что это в принципе противоестественное для человека состояние. Такие люди вызывают сочувствие, поскольку даже при демократии добро понимается как лучшее для большинства, но не меньшинства. А человечность как качество человека не может позволить топтать себе подобного. Личное всегда враждебно власти, и кто-то всегда будет с ней не в ладах. Следовательно, будет и подавление. Как избежать этого подавления личности и одновременно хаоса, никто не знает. Человечество еще не придумало такой идеальной формы жизни, но от этого я не могу заставить себя считать, что существующее положение справедливо.

— Трудно вам с такой философией жить, особенно в нашем отделе. Вам бы все туда, в запредельное, к религии поближе. Кстати, ваши восхваления веры не совсем точны. Уж кто-кто, а церковь всегда стремилась к власти, и изобретение инквизиции — это не светская выдумка. Власть, стоящая вне критики, претендующая на место Бога на земле! Куда уж выше лезть? А у вас все лица да лица. Да такие же лица, как у всех. Они, что, — святые? С неба упали, что ли, чтобы нас учить?

— Вы меня не так поняли. Я говорил не о церкви, а об ином. О вере. Это совсем другое дело. Вера, религия, церковь — это все различные категории и абсолютно не одно и то же. Ладно, давайте лучше о мирском, суетном, хотя бы об отделе. Правда, он не стоит того, чтобы о нем много говорить. Почему вы решили, что мне труднее, чем другим? Не труднее. А кстати, Алексей Михайлович, почему вы выступили в поддержку Кузнецова? Со мной все ясно: я все равно не жилец не только в этом отделе, но и в министерстве. А вы-то что полезли?

— Во-первых, со мной не так просто расправиться. Во-вторых, я с Коноваловым поцапался. Во время последней командировки я сделал отчет, где изложил все без приукрашивания о якобы наших победах, на которые мы обречены. Причем это было лучше для нас самих, поскольку рано или поздно все обнаружится. Нельзя же скрывать то, что происходит на международной арене. В 1941 году докладывали то, что нравится начальству, а потом оказались не готовыми к войне. Пытался все разъяснить Коновалову, а он разъярился. Мы стали собачиться — все-таки я ведущий специалист отдела, ну и возник конфликт. Вначале все было нежно — я просто возражал аргументами, а потом уже сцепился всерьез, когда стал уверен в «тылах».

— Что означает «в тылах»?

— «Тылы» — это решение вопроса о моем переходе в другое подразделение министерства, где мне обещали заместителя начальника управления. Коновалов знает обо всем этом и насчет заместителя, которого он мне обещал в нашем отделе три года назад и так и не дал. В общем, злитесь, а поделывать ничего не может. Эстет!

Церковный зло рассмеялся.

— Я ему еще воткнул под конец. Известно, что он мнит себя большим знатоком музыки и живописи. Знает, где и какое полотно висит в любом европейском музее. Понятное дело: пить уже здоровье не позволяет, вот он и шляется в Европе не по барам, а по музеям. Поди, к девушкам тоже охладел. Короче, любит иностранцев поражать. Мол, я всего лишь любитель, а потом как начнет на переговорах сыпать именами и сюжетами, связанными с художниками и композиторами, только держись. Партнеры поражаются, а мне иной раз кажется, что это какое-то мертвое знание. Интереснее наблюдать за развитием жанров, анализировать и сопоставлять сюжеты. Да и вообще, почему всем надо увлекаться искусством. Приедешь в командировку, думаешь на шопинг сбегать, пивка попить. А он вдруг: «Надо обязательно посетить музей. Здесь такой удивительный подбор испанцев!» Что я, за испанцами сюда ехал? И вообще, могу я увлекаться футболом или нет? Это что, хуже? Этим, между прочим, болеет большинство человечества. Кто знает, может, если бы не эти возгласы насчет искусства и его важности для народа, меньше людей ходило бы в музеи и театры и эстетам было бы легче пробиваться через очереди — их просто бы не было — и наслаждаться своим искусством? А то ведь к картине не протолкаться. Привозили Джоконду в Москву. Ну пробился я к ней, а толку? Идет нескончаемый поток: тридцать секунд постоял и двигай дальше. Я и не понял, зачем я к картине подходил. Впрочем, все это не важно для нашего разговора. Короче, засадил я ему, что хорошо, конечно, знать живопись, но эстетика предполагает наличие этики. А где же гуманизм? — спрашиваю я его. Видели бы вы его! Он аж в лице переменялся!

— Красиво излагаете, Алексей Михайлович. Но не проняло его все это. Зло злом не исправить. Получается, кто куснет побольнее, тот и лучше. Чему тут радоваться? Уходит жизнь ни на что.

— А я не исповедую вашей религии и не адепт вашей доктрины. Я убежден, что надо кусать. Не оригинален: отношусь к людям так, как они ко мне, то есть как они того заслуживают.

— Тогда вы смело можете брать за роль начальника. У вас получится!

— Александр Васильевич! А вы тоже кусаетесь. У вас это звучит как осуждение, но я не обижаюсь. Тем более на вас, потому что у вас сложное положение и вы в неверном состоянии. Кроме того, я вас уважаю. Несмотря на травлю, вы защищали товарища. Честь вам и хвала за это! А что касается меня, то я готов к предстоящему испытанию властью, — попытался пошутить не очень ловко Церковный, пытаясь скрыть свою обиду — слова Саженкова заделали его.

«Вместо того чтобы поздравить, он учит меня жить. Мне такой шанс выпадает. Я его, может, рыл всю жизнь. Тоже мне пророк! Сам, того и гляди, безработным завтра будет. Еще ко мне побежит с просьбой пристроить. Тогда я погляжу на тебя, какой ты святой!» — подумал Алексей Михайлович, а вслух как можно равнодушнее бросил:

— Ну, время позднее, и мне пора домой. Спасибо за прогулку и беседу. Жаль все-таки Кузнецова. Заморили хорошего человека. До свидания, Саженок.

Два московских философа расстались, и каждый пошел к своей жизни.

Александр Васильевич потащился домой, и в его голове вдруг выскочило:

Вы все, кого я так люблю и ненавижу,
Сбежались посмотреть, как я лежу
В гробу. Один. Отшельник отходящий.
Мне мира нет. Мир с вами — я уйду!

Ему стало не по себе.

«Что-то загробная тема меня донимает».

Он опять почувствовал, как тянет сердце — с ним это случалось последнее время. «Зачем пил и много курил?» — пронеслась запоздалая мысль с укором.

Это предчувствие оказалось не пустым. Через несколько дней он заболел. Подозрение было на инфаркт, и кардиограммы были не совсем понятными для врачей. На всякий случай его отправили в ведомственную больницу, где он отдался самозабвенно лечению и чтению, стараясь ни о чем не думать.

Елена каким-то образом узнала о его болезни и, хотя их отношения совершенно прекратились, навещала его. Они избегали серьезных разговоров.

После долгого лечения, уже в разгаре лета врачи посчитали возможным отправить Саженкова домой. Когда он выписывался из больницы, жена пришла забирать мужа. Саженок с интересом поглядывал на Лену, пока они ехали в такси домой, а она избегала глядеть ему в глаза. Обнаружилось, к его удивлению, что она вернулась, и дом встретил забытым уютом совместной жизни. Оставалось делать вид, будто ничего не произошло. Надо было жить и искать надежду, неважно какую, неважно на что...

Спасаясь от разговоров, Лена отправилась по магазинам, а Саженок от нечего делать взял свою рукопись и начал листать своего «Хобота».

«...В этот самый момент, как в сказке, появилась надежда. Ее звали Надеждой. Она подобрала меня с такой же легкостью, с какой подбирают заблудившегося щенка. Мне легко сравнивать. У меня был такой случай, вернее, его подобие. Как-то возвращаясь домой поздно вечером, я заметил, что за мной увязалась беленькая собачонка. Впервые в жизни в снегу я увидел собачьи глаза просьбы. Я не знал, что делать с этой мольбой. Куда взять это живое существо, жалкое донельзя? Брать и бросать не позволял Хобот. Я пытался убежать от нее, но из этого ничего не получилось. Наконец каким-то чудом мне удалось удрать. Но в тот самый момент, когда я решил, что сумел оборвать эту робкую живую нить, на меня обрушились звук тормозов и жалобное повизгивание. — Опять эта нить! — подумал Саженок. — Танец на льду автомашины с собакой был недолгим, но визг немало попрыгал от дома к дому и вдруг замер. Мой дом не возвращался ко мне, и я долго шел по улицам, избегая встречи с этим бегущим на меня местом. Я и сейчас его избегаю. Чрезмерная чувствительность. Помните мой недостаток? Хотя прошло много времени, какое-то неловкое ощущение по-прежнему не покидает меня. Иногда мне кажется, будто я вижу выражение этих собачьих глаз, их просьбы. Точнее будет сказать, это, скорее, не выражение, а от-

печаток этой мольбы. Удивительно, но его можно встретить самым неожиданным образом. Его можно увидеть в каких-то ситуациях, у людей и даже на предметах, например, в обстановке дома, мебели, зеркалах.

Надежде не удалось убежать от Хобота — она подобрала его. Мне трудно найти этому объяснение. Его превосходительство господин случай подослал ее ко мне. Участие случая, участливость судьбы в образе Надежды, исходящий от нее покой — как все это понять? Я и не стремился к пониманию. Я просто растворился в этом покое и стал все воспринимать иначе. Это была истинная гармония. Думаете, покой сменился сумбуром, суетой? Или вы полагаете, я расскажу, как он меня подавил? Отнюдь!

Все шло замечательно. Тем более что теперь я не искал ничего вечного, никакого там блаженства. Никаких глупостей. Хватит! Жизнь вошла в меня, и я воссоединился с ней. Я сам стал отражением жизни. Противоречия перестали бороться друг с другом и терзать меня. Мне иногда кажется, что в это время я постиг смысл жизни или прикоснулся к какой-то ее самой сокровенной тайне. Просто в это время жизнь шла так, что я мог гордо заявить: „Да! Я живу!“

Все шло довольно неплохо и на работе тоже. Мне удавалось поддерживать себя как специалиста. Входящие, исходящие номера так и мелькали передо мной. Одно только чувство сбивало с толку. Скорее, даже не чувство, а так, его отголосок — жалость по утраченным способностям Хобота. Они почти растерялись. Иногда лишь легкое шевеление дергало меня. Я стал Голодом, но Голод голодал по прошлому — по Хоботу.

Каждый день превращался в дату, в число, а число сливалось с номером. И бежали исходящие, входящие, уходящие номера дней. В этой гармонии формы я ждал, глупо ждал, не знаю почему, какого-то озарения. Казалось, должно же что-то произойти. Что-то такое, что могло вернуть меня себе, то есть Хобота. Внутри была какая-то заноза. Заноза рациональности причиняла неудобства, и даже Надежда не могла освободить меня от нее.

Я стал изучать эту рациональность, чтобы избавиться от занозы. Мне пришлось пристальнее всмотреться в себя и поневоле во всех окружавших меня. Казалось, это спасительный путь. На какое-то мгновение мне почудилось, что я освободился от всего лишнего и снова стал Хоботом. Но то был мираж. Суета жизни, мелкие дразги вновь заслонили меня от самого себя. Был один лишь Голод, но он был суетлив, а главное — непрерывно гнал меня от моего „я“. Пришлось испробовать множество средств, чтобы как-то возродить ушедшее. Но ничто не помогало мне, пока я не понял, что нужно нарушить сложившийся порядок вещей. Я долго не решался, но собравшись с духом, принял единственно возможное решение — вернуть Хобота любой ценой, то есть отрешиться от всего, что мешало ему. В конце концов я осознал: чем больше привычек я отброшу, чем больше я потеряю, тем ближе буду к своей цели. Именно на этой ноте во мне вновь зазвучала мелодия Хобота. Она влекла за собою с такой же настойчивостью, с какой глаз тянет небо в свою глубину. Хобот начинал просыпаться, но медленно. Он подсказывал, что истинная ценность определяется не только способностью уступать, но и возможностью отказываться. Постепенно я стал обретать самого себя. Но это требовало невероятного напряжения моего „я“. Не спрашивайте, как мне это удалось, да и не только мне. Я порвал с Надеждой — меня вела теперь другая надежда.

Я свел до минимума свое общение с людьми, ограничив его лишь паутиной работы. Меня не смущала моя нелюдимость. Во мне проснулся Хобот, и теперь с его помощью я видел все ясно, но на расстоянии. Чистота подступила к самым глазам. Правда, созерцание это становилось страшноватым. Произошло непоправимое — все разделилось пополам. Хобот и я перестали быть одним целым. Отныне, не направляемый

ником, он сам проникал во все и вся, а я лишь констатировал его заключения. Хобот был беспощаден и безошибочно поражал. Его наблюдение становилось для меня пыткой. Жуткий мир диких фигур прилипал приторным страхом ко мне. Но я ничего не мог поделать — Хобот вышел из-под моего контроля. Я сам находился под его всевидящим бесстрастным оком. Он даже высветил мое и свое отражения в зеркале. Что за зрелище! Лицо, мое положение представились мне в новом, ужасающем свете. Моя жизнь была подобна тусклому взгляду надзирателя. Хобот толкал меня порвать с той формой, в которую меня заключили. Я безостановочно рвал все связующее меня с этой камерой, но нитей не становилось меньше. Задыхаясь, я искал выхода и не находил его. Глаза Хобота не давали мне найти спасения у людей — любимые человеки копошились в никчемности. Конечно, хотелось разогнать Хоботом нелепый туман обид, но страх царапал меня. Я боялся показать, что мне ведомо что-то запредельное. Я не гоюсь в пророки. Дело не в том, что их побивают камнями. Просто люди не любят, как это ни странно звучит, когда им помогают, даже из самых лучших побуждений. Человек готов отказаться от всего, кроме своих иллюзий.

Так я достиг этого порога, когда нарывающая форма существования угнетает, а раздвоенность, как гагрена, разъедает нутро. Нужно было во что бы то ни стало преодолеть эту форму. Пусть я сосулька, которая вот-вот обрушится вниз, и это сумасшествие само зашумит подо мной. Падение не страшно. Прыжок из раздвоенности не труднее преодоления себя. Это — шаг в страну своего самого „я“, где сливается свое и чужое!»

Александр Васильевич дочитал свою рукопись. Мысли тяжело переваливались в голове Саженкова. Он вышел на балкон, подошел поближе к перилам и как бы примерился взглядом. Неожиданно в сознание вплелось где-то читанное у Пастернака:

Руки врозь, окна настезь и голову вон!
Перевесившись, слушать в волненьи, какую
Меру дней прокукует мне уличный шум,
Удаляясь, таясь, приближаясь, ликуя.

Словно в этом есть толк, словно это мой долг,
Ограждаясь от счастья за ярусом ярус,
Без опаски чтоб город когда-нибудь смолк,
Слушать нежность, и ярость, и юность, и старость.

В это время где-то из квартиры донеслась песня, передаваемая по радио: «Вот еще чуть-чуть до порога...»

Саженков резко оттолкнулся от перил и отошел подальше от них, ближе к двери, ведущей из балкона в квартиру. Но что-то тянуло назад. Александр Васильевич бросил вороватый взгляд с балкона. Из-за прямоугольника дома на него тревожно смотрело какое-то немосковское, приседающее оранжевое солнце. Его лучи испуганно жались к сизым задумчивым облакам. Внизу бледнел строй домов, казарменная равномерность которых скрашивала только нежно-молодая трава. Она глупо тянулась, неорганизованно нарушая порядок, смягчая лучи чужого солнца, надзирающего за травой, домами, бодрствующим балконом, кровоподтеками ржавчины на его перилах. Саженков оторвался и перенес себя в квартиру. Он лег на кровать, умеря сердцебиение и оттирая пот. Ужасно хотелось курить, но он не поддался этой тяге, и правильно сделал. Раздался скрип ключа во входной двери — это пришла Лена. И с ней пришла бы-

лая жизнь и былая радость. Хотелось верить, что не было расставания, как и не было и несчастья, и что воссоединение вернет их к прежней жизни.

Время шло, но Саженкова продолжали держать на бюллетене. Врачам не нравилось его состояние. Некоторое время они даже подумывали опять положить его в больницу. Но Александр Васильевич противился возвращению в могильник здравоохранения. На какое-то время ему стало лучше, и лечить стали не так настойчиво. Но нельзя сказать, что страдания ушли. Просто Александр Васильевич давно слился с болью сердца и привык к ее неожиданностям, к застыванию теперь уже не своего тела, замедленным движениям, безразличной постели — ко всему тому, что отличает расчетливую размеренность от рискованного порыва. Эта привычка преодолевала страх, позволяла смотреть через него на все происходящее не своими глазами, в то время как вокруг что-то суетилось, а более всего — Лена. Иной раз появлялись друзья. Их глаза то останавливались, то прыгали. Взгляды, стыдливо сдерживавшие участливость, разговоры-безделушки, покой в голосе вопреки радости их здоровья вызывали у него раздражение, приписываемое болезни.

Александр Васильевич ощущал все больше, как каждое произнесенное слово сосет из него силы и как с каждым разговором он выдыхает из себя жизнь. Он чувствовал, как устал жить старой, изжитой жизнью, превратившись сам в усталость. Каждое появление новых посетителей, новые разговоры, особенно с халатными людьми, выводили его из равновесия, и тогда весь его вид кричал: «Опять вы меня отвлекаете по пустякам!» Ему начинало казаться временами, что те, кто так почтительно надоедают ему, хотят получить от него что-то важное, сокровенное, узнать какую-то его тайну. Хотя не было никакой тайны ни в чем! Лена терпеливо несла свой крест мучений, подчеркнуто спокойно не замечая раздражения больного, которое он пытался сдерживать.

Сейчас он лежал, наслаждаясь одиночеством. Исцеляющая тишина растворилась в нем. Не было никаких мыслей и забот. Было приятно просто лежать, ни о чем не думая, но для этого надо было осторожно дышать, чтобы не спугнуть сердце.

Наедине с собою было легко. Одиночество требует упорства и сумевшим овладеть этим искусством дарит свое наслаждение. Чувство одиночества приходит так же внезапно, как внезапно оно и покидает. Наверное, не сразу удастся ощутить его обаяние. Можно наслаждаться мигом счастья, но разве сравнишь это мимолетное облако с освобождением от боли, которая покидает не торопясь, с оглядкой? Когда воспоминания истекут, уступив место созерцательной печали, а время вдруг сбежит на ладонь и не страшат пространства своей бесконечностью. В такой момент кажется, что родился, чтобы привыкнуть к одиночеству. Может, эта привычка позволяет человеку не смущаться смерти?

Ввалившаяся вдруг, безжалостная духота съела сладость тишины, свободной от сдерживаемых шорохов, погрузив Саженкова в сон. Задыхаясь, вечер с трудом протискивался в Москву через куриную слепоту света, который, казалось, не намерен был уступать всемогущей ночи. Надтреснутой тенью бродил свет по затаившейся квартире Александра Васильевича, замирая перед облаком лекарств, нависшим над белым пятном измятой простыни, в которую упирался ее хозяин.

Внезапно Саженков пришел в себя. Какое-то время он не мог понять, что разбудило его, да и проснулся ли он вообще. Ему показалось, что во сне живет мелодия. Но потом он осознал, что где-то наверху играют на фортепиано что-то очень знакомое и потому приятное. Александр Васильевич не помнил ни композитора, ни тем более названия мелодии, но это лишь усиливало уверенность в том, что он знает ее очень

хорошо. Музыка тянула за собой вверх все сильнее и увереннее. И Александр Васильевич вспомнил, что именно эту мелодию когда-то, очень давно он долго разучивал тоже на пианино и она ему не давалась. Постепенно он начинал тонуть в воспоминаниях... Он видел, как незаметно от мамы передвигает стрелки часов, чтобы побыстрее закончить занятия музыкой и бежать к друзьям во двор. Он почувствовал жар споров с мамой под треск масла на сковородке, с которой у мамы шло настоящее сражение, и вспомнил запах любимых котлет.

Затем его сознание закружилось куда-то дальше, и на Александра Васильевича вдруг наехало его утреннее наваждение. По утрам во время завтрака на него все время смотрит взрослый мужчина. Он смотрит иногда пристально, иногда весело, но от этой веселости подползает странное чувство. Что он высматривает во мне? Тем более с такого расстояния — целый коридор. Нас разделяет коридор жизни — лет в сорок. А что может нас объединять? Что между нами общего? Кажется, ничего. Ничего, кроме зеркала.

У Александра Васильевича есть тайна, о которой знает только его двойник в зеркале. Трудно поверить, что этот взрослый по виду человек — это он, Александр Васильевич. Ему даже ужасно думать, что он не тот мальчик, каким он помнит себя. Всегда. Иногда ему кажется, что он не сильно изменился с тех пор, как он ходил в школу. В нем и сейчас так весело бурлят радости и тренькают горести тех лет. И все время это ощущение, что он допустил какую-то непростительную ошибку и оказался во взрослой жизни, в которой обнаружилось столько непостижимого.

Это наваждение поползло куда-то вбок, и Александру Васильевичу вспомнилось, как он однажды поведал маме о гнетущем открытии.

«Мама! Не хочу расти. Не хочу быть взрослым. У взрослых всегда мама и папа умирают. Обещай, что вы не умрете!»

Где это спасительное тепло маминых рук на голове, так умеющих остановить любые слезы?

Вдруг он вспомнил этот удивительный запах детской головы и свой ужас от того, что он никак не мог запомнить лица своего новорожденного ребенка.

Эти видения текли через Александра Васильевича, переносясь через десятилетия с такой же легкостью, с какой он прыгал когда-то мальчишкой через лужи. Так незаметно для него самого заиграла хрустальная музыка и где-то рядом было чувство растерянного детства, всегда возвращающегося с ощущением невозвратимости.

Саженокв увидел, как прошлое льется разноцветным потоком: то розово-голубым, то желто-зеленым, на котором неудержимо качается тень маленького мальчика Саши. Ее колебания раскачивали сознание, и чтобы не закружиться, мысли начали метаться в разные стороны навстречу этим давящим, командорским шагам незнакомо-го маятника. Память скользила все дальше и дальше. Это сложное движение раздвигало каркас тела, и Александру Васильевичу казалось, будто он всем своим «я» сдвигается с насиженного места. Ощущение было такое, будто тело расширилось и он стал как бы больше самого себя. Но самое удивительное было в том, что при этом старые контуры тела оставались неизменными.

«Как все мелко, — подумала жизнь в Саженкове. — Как не нужно все это. Этот светло-серый угол, и этот нелепый свет».

Испуганный свет постепенно уступал место настойчивой темноте.

Движение от себя пугало и радовало одновременно. Ему казалось, что он одновременно улетает куда-то далеко и в то же время возвращается к себе. Эти два взаимоисключающие движения не казались противоречивыми. Бесконечность встала величием круга, сходящегося в одну точку — в собственное «я». Казалось, будто выходишь из равнотупого оцепенения времени. Движение в темноте воспринималось как путь к че-

му-то значительно. Тело оставалось на месте, а движение из него и вопреки ему было завораживающе приятным. Так хотелось уйти из этого обморока времени.

Необычность состояния постепенно отрешила больного от всего, что было во вне его. Он не услышал, как вздрогнула приникшая жена. Не увидел ее трепещущих над телефоном пальцев. Слова ее плыли где-то далеко рядом, не задевая Александра Васильевича. И только касание приблизившихся рук заставило его ненадолго вернуться к зову: «Саша! Саша! Саша!»

Напряжение лица, метания ресниц, дрожание глаз несли белый страх Елены, вцепившихся в него рук.

Как будто можно было удержать его? Саженкова удивила белизна этого страха. Такими же страшно белыми показались ему халаты врачей, пытавшихся настигнуть его своей деловитостью.

«Как поспешность и эта ложная суета могут удержать спокойную стремительность?» — подумал он. Эта мощь и легкость, уносящая все дальше и дальше, уже совсем не пугали.

С каждым биением сердца он как будто совершал шаг все выше и выше, рискуя вырваться навсегда из боли этой суеты. Он увидел себя, свое слабое, никчемное тело, и не было сожаления о его беспомощности, об утраченной силе и ловкости.

Все уходило на второй, третий, четвертый планы; планы смешивались, перекрещивались, исчезали и появлялись вновь. Исчезла скованность, а вместе с ней уходила запутанность всех планов и возвращались утраченная ясность и легкость.

Александр Васильевич вдруг осознал, как не нужно, неловко нанизывались на нить его жизни слова, как за ними вырастали еще более ненужные поступки, вызванные какими-то странными условностями жизни, как их тяжесть раскачивала нить, как все это тянуло нить его жизни в разные стороны, пытаясь даже порвать ее. Грязно-желтая морда этой тяжести неприятно завораживала и от этого страшила его. Сейчас, когда нить так вытянулась и ничто не мешало, вся нелепость былого предстала перед ним со всей очевидностью.

Но легкость опять сменилась тяжестью, а с ней появилась сероватая жалость. С чувством утраты чего-то очень важного, смешанным с сожалением, Саша начал приходить в себя. Это было чувство непреодоленного. Первое, на что он наткнулся, были одобрительные слова людей в халатах. Но его сознание уперлось в слово «халат», которое почему-то сейчас особенно поразило его своей странностью, и он ушел в сон.

Когда он снова пришел в себя, врачи пустили к нему жену. Он увидел близкий и в то же время незнакомый образ Елены. Он увидел ее глаза, которые наполняли неловкостью. Они избавились от той белизны страха, но Саженков понимал это не очень хорошо, потому что он уже забыл многое из пережитого тогда.

Прошло время, и Александр Васильевич выздоровел, но на коже памяти остался рубец, который не давал покоя.

Что это было? Что все это означает?

Говорили, как ему повезло, что его вытащили с того света.

Как будто он просил, чтобы его куда-то тащили.

Саженков слушал разные слова, соглашался и пытался вновь определить то, что милостиво снизошло на него.

Сон под наркозом? Но началось вроде бы раньше.

Или бред, галлюцинации больного? Если так переходят рубеж, когда сознание прыгает и, отмирая, тормозит воображение, то перевал не столь ужасен. Страх нет, скорее — это какое-то преодоление оцепенения, — думал он. Видимо, самое главное — успеть подготовиться, не дать страху задавить себя.

Говорят, последователи ламаизма верят, что если, умирая, находишься в сознании и отдаешь отчет в происходящем, то это дает возможность разорвать бесконечный круг перевоплощения души или, по крайней мере, повысить следующий уровень. Специальная подготовка позволяет достичь такого контроля на пороге смерти. Может, во всем этом что-то есть и вообще неспроста все это? Может, действительно, важно быть в полном сознании, уходя в мир иной? — продолжал свой анализ Саженок.

«А как же смерть во сне или несчастный случай?» И вновь смерть сокрушала его своей непостижимостью. Неразрешимая задача утомляла, и какое-то время спустя он забросил свою думу о ней. Ему даже стали неприятны эти воспоминания и какие-либо упоминания об этом случае. Так было спокойнее. Жизнь не может жить смертью. Хотелось забыть все это, но временами Саженкова мучила мысль, вправе ли он так поступать, да и возможно ли это забыть? В поисках ответа он вглядывался в себя и в окружающий мир, ощущая за собой подчас нетерпеливый шаг какой-то тени. Но внутри все было неясным, а колготной мир жил собой и не хотел ничего знать о том, что заболело Александра Васильевича. Постепенно и эта мысль испарилась.

Но странное дело, этот случай подарил ему спокойствие, которое, в свою очередь, подтолкнуло его к быстрому выздоровлению, к удивлению врачей.

«Как странно, — думал он. — Я хотел всего, а успокоился таким малым: всего лишь приближением к своему концу!»

Александр Васильевич слушал восторженную птичью речь докторов, но не выдавал себя. У него появилось ощущение, будто он прикоснулся к чему-то крайне важному. Но он не стремился подбирать нужные слова, чтобы лучше передать свое «тогдашнее» состояние, да это было и непросто. Не хотелось пугать, да и поймут ли? Еще решат, чего доброго, что свихнулся. Так он и жил, лелея эту тайну. Постепенно под гнетом многообразия жизни она уходила все дальше в тень сознания до очередной встречи.

После окончательного выздоровления Саженков вышел на работу и обнаружил там множество перемен. Перестройка добралась до отдела. Оказывается, за это время в министерстве перетасовали руководящие кадры, и с этим обстоятельством отделцы связали совсем неожиданное. В очередную командировку в Швейцарию с Коноваловым почему-то не поехал Щуко, а только Старшинов с Аделью. По возвращении из командировки Коновалов был убит новостью о том, что он отправляется на пенсию. Проводы были скорыми и неторжественными, то есть не достойными никакого описания. Следует лишь отметить, что любимые сотрудники Коновалова были почему-то настолько растерянными, что не нашли подходящие к такому случаю слова, чем и добились его окончательно. Все вдруг заметили, что он оказался маленьким человечком, к тому же скукожившимся. Коновалов ходил потерянный. С ним здоровались из бывшего почтения, но ему все равно казалось, что уважения не было никакого и все над ним втихаря надсмехаются. По прошествии двухнедельного нетерпеливого ожидания новым начальником стал не присланный сверху, а, ко всеобщему удивлению, свой отделец Щуко. Эта новость взбудоражила отдел больше, чем перестройка всего Советского Союза, но вскоре все свыклись с этой новеллой.

Как и положено, Владимир Сергеевич переместился в новый для него кабинет, где тут же непонятно каким образом мгновенно поменялась мебель, что свидетельствовало о качественно новом подходе к работе. Через некоторое время Щуко собрал народ и произнес тронную речь. В своем инаугурационном выступлении он пообещал «твердо думать больше о коллективе и отделе в целом». По его мысли, перестройка в отделе потребует улучшения качества работы на основе сохранения лучших традиций и внедрения качественно новых идей.

— Друзья мои! — заключил он. — Какое время на дворе, сами видите. От нас ждут многого, и это на нас накладывает, требует от нас немало. Необходимо разработать для начала наш собственный план развития гласности в отделе на ближайшую пятилетку. Следует провести анкетирование, что вполне в духе времени. Но это должно быть не просто данью времени. Нет, речь идет о качественном улучшении работы, чтобы мы могли показать свое лицо. Найти собственное лицо и свою собственную мысль в изменившейся обстановке, чтобы министерство в лице его начальства почувствовало нас и нашу работу всерьез. Здесь все средства хороши, включая самые современные. Нам необходимо знать все и всех. Кстати, неплохо было бы включить в анкету и вопрос о том, кто известен как явный или скрытый враг перестройки, которую руководство партии и правительства рекомендуют начинать с себя. Нам это пригодится и в целях улучшения расстановки кадров. Очевидно, нам предстоит структурная перестройка и расширение функций. Пора нам подумать о том, чтобы отдел стал гордо именоваться управлением. В этой связи можно будет поставить вопрос о повышении зарплаты. Хозрасчет так хозрасчет! Нужно извлекать новые стимулы к работе в новых условиях, то есть работать по-новому. А голым попутчикам с нами — не по пути!

Новый ветер, подувший из нового начальника, вызвал панику или ожидания прибавки жалованья у народа в зависимости от того, кто был оптимистом, а кто — пессимистом. Но постепенно жизнь стала входить в новое бумажное русло, отличавшееся от старого еще большим объемом и никчемной поспешностью исполнения поручений — редко понятных. Бурный поток энергии сопровождался метаниями Шуко между руководством министерства и заграничными командировками. Во время паузы посреди этой суеты он вызвал Саженкова.

Александр Васильевич проплыл через взгляд еще больше расцветших глаз Адели в знакомый ящик-кабинет, где многое изменилось, но все так же весело поблескивало золотистое тиснение тех же томов.

Владимир Сергеевич сразу же поразил его бодрой веселостью.

— Как здоровье? Живем?

Заметив удивление на лице Саженкова, галопирующие глаза Шуко быстро упрыгали в сторону.

— Во-первых, поздравляю тебя. Дело твое давно уже прикрыто, и не скрою, не без моих усилий. Предлагаю тебе возглавить нашу новую группу как исполняющему обязанности. В перспективе думаю трансформировать группу в отдел. Будешь хорошо работать — поручу тебе ее руководство. Ну как?

Александр Васильевич опешил и в недоумении посмотрел на неожиданно застывшего Шуко.

— Что же ты молчишь? Или не рад?

— Владимир Сергеевич, это какой-то неожиданный поворот. Вы выступали против меня, а теперь вдруг приближаете к себе. Мне это трудно осмыслить.

— Ну и что, что выступал. Время было такое, а теперь оно другое. Надо тебе перестраиваться. Пришел час энергичных людей. У тебя хорошая голова, неплохое перо. Отбрось свои недостатки, мнительность. Тебе предоставляется уникальная возможность, а ты кочевряжишься. Я тебя не понимаю.

В голосе Шуко зазвучали одновременно угроза и обида.

— Я не могу так сразу решиться. Мне надо подумать.

— Хорошо, думай. До конца сегодняшнего дня, я надеюсь, тебе хватит времени?

— Очень все это внезапно и стремительно, а я после болезни.

— А сейчас ускорение, и некогда тратить время попусту.

На том и расстались. Саженок покинул кабинет начальства настолько погруженный в осмысление внезапного предложения, что не заметил слащавой приветливости Аделаиды. Мысли топорщились, но решение никак не давалось. Если бы это было пораньше, Саженок возгордился бы только от одного предложения. А сейчас эта идея, да еще вдобавок из уст Шуко, совершенно покорила его. Все пережитое судорожной волной пробежало через его сознание, и остался противный осадок, как от похмелья. С этим осадком он двинулся вечером к начальственному кабинету около восемнадцати ноль-ноль. Но не один, а со всеми. Предстояло собрание, и поток сослуживцев со стульями устремился в едином порыве.

Собрание было посвящено теме «Производственные задачи управления в свете перестройки». Основным докладчиком был еще более подающий надежды Геннадий Старшинов, который долго рассказывал о необходимости сочленения перестройки в управлении с ускорением его работы. Заворожив управленцев магией цифр исходящих и входящих бумаг, он призвал коллег к смелости мыслей и поступков. Его напоминание о решительности Шуко удачно вписалось в доклад. За ним выступил Кантемиров, но в словах партийного лидера было больше осторожности, что было и понятным — слухами полнилась земля о том, что начальство хочет избрать другого вожака. Поэтому немудрено, что в обтекаемых фразах Ивана Николаевича все время звучала мысль о целесообразности развития неплохих традиций отдела, предвосхитивших перестройку. Он скромно умолчал о своей роли в деле сохранения этих традиций, но управленцы быстро догадались, о ком идет речь. В особенности когда он заговорил о полюбившейся ему критике, самокритике и индивидуальных отчетах коммунистов.

— В этой форме работы, — канючил он. — Мы видим большое будущее. У нашей организации есть задумка — двигать данную форму и далее.

Но его не такой, как обычно, бравый вид не вызвал всеобщего, как обычно, одобрения.

Еще несколько выступивших ораторов довольно толково пересказали передовицы газет партийной печати, а потом грянуло долгожданное слово Шуко. Порассуждав о судьбе перестройки, которую все так долго ждали и с которой так вовремя выступило руководство партии, он обратился к своим подопечным:

— Друзья мои! Как нам улучшить работу? Вот сердцевина, краеугольный камень нашей с вами перестройки. Больше инициатив, работы, горения и кипения, творчества и самоотдачи! Но работы не будет без горения мысли. Без преданности делу и управлению. Преданность — вот аксиома. Я не хочу сказать, что у нас не все преданные, но и не могу утверждать, что все. Конечно, нельзя залезть в душу каждому и узнать, о чем он на самом деле думает. Но многое можно предположить. Эти предположения меня тревожат и, скажу откровенно, тяготят! Эта тяжесть дает мне основания утверждать, что нужен эффективный контроль. Без контроля наши сотрудники могут разболтаться. Мы все это должны учитывать и при решении вопроса о направлении сотрудника в заграникомандировку. Мы — работники передового фронта, имеем выход за пределы страны, и мы должны быть уверены в настроениях людей. Вне контроля человек может отстать в своем мыслительном отношении. Поэтому я призываю вас встать плечом к плечу, в одну копилку, вести управление к новым высотам.

На этой высоте собрание коллектива закончилось. Все разошлись, кроме Шуко и Саженкова. Разговор не был долгим. Александр Васильевич сослался на болезнь, а Владимир Сергеевич выразил сожаление, даже не взглянув на Саженкова.

Дни, заполненные работой и жизнью, побежали дальше. Вместе с ними отдвигался все дальше от этих событий Александр Васильевич Саженок. А история подо-

шла к своему концу, если это вообще история. Все описано, и нечего прибавить, хотя, каюсь, возникает мысль: а зачем, собственно, все это написано? Что это добавит к жизни общечеловеческой? Все сказано давно, и ничего нового нет под луной! Но что-то тревожит и даже угнетает, хотя навряд ли нужно поддаваться ненужным порывам. Как сказал герой больного произведения, наблюдательность сердца может сильно повредить его обладателю. Впрочем, какая тут, к черту, наблюдательность? Жить надо веселее! Но какая веселость без печали? Бывает, и накатывает. А может, все от излишних движений нутра, ненужных переживаний и ненужных знаний? Ведь и в Священном Писании сказано: мудрость полна печали. Значит, преумножая мысли, мы боремся за печаль. Свою.

Какое-то невеселое получается завершение. А как хотелось изобразить все этак живо, весело, бодро, с энтузиазмом, чтобы посмешнее получилось! Все как-то не так выходит. Сознание, что ли, больное в нас сидит или душа с чужого плеча? Вот как повлиял своей нездоровостью наш герой. Впрочем, какой он герой? Да и что в нем типичного? — спросят, как учили в школе. И правильно спросят, я вам скажу. Посмотрите, как гордо стоит здание министерства на Садовом кольце, другие выдающиеся ведомства в других местах. Люди там работают и мыслят одним дыханием со всей нашей огромной страной. А тут нетипичные герои, болезненные хоботы! Нужны ли нам такие герои? И правильно спросят, я вам скажу. Не нужны нам такие нетипичные герои, у которых к тому же нетерпеливо шагает тень!